

ВИКТОР КРАСИН

ВИКТОР КРАСИН. С У Д

С У Д

ВИКТОР КРАСИН

С У Д

CHALIDZE PUBLICATIONS NEW YORK 1983

VICTOR KRASIN

T R I A L

Copyright 1983 by Chalidze Publications

Published by Chalidze Publications

**505 Eighth Avenue
New York, N.Y. 10018**

Manufactured in the U.S.A.

Не бойтесь убивающих тело,
души же не могущих убить;
а бойтесь того, кто может и
душу и тело погубить в геенне.

*Евангелие от Матфея.
Гл. X, 28.*

СО Д Е Р Ж А Н И Е

| | |
|--|-----|
| Вступление | 5 |
| Суд | 8 |
| Обвинения, предъявленные мне на следствии | 98 |
| Краткие биографические сведения | 104 |
| Приложения | 109 |

ВСТУПЛЕНИЕ

В августе 1973 года в Москве состоялся суд над Петром Якиром и мною.* Нас обвинили по статье 70-й УК РСФСР — в пропаганде, направленной на подрыв советского строя.

На следствии и суде мы дали показания на многих участников правозащитного движения, признали себя виновными в преступлениях против советского государства и раскаялись. Через несколько дней после суда, в сентябре 1973 года, на пресс-конференции для иностранных журналистов мы повторили то, что говорили на суде.

Многие сравнивали наш суд со сталинскими показательными процессами 30-х годов. Разница в том, что на сталинских процессах подсудимых, несмотря на их покаяния, расстреливали; нас же не только пощадили, но и выпустили на волю, а мне даже разрешили эмигрировать на Запад. Почему?

Ко времени нашего суда в Советском Союзе уже восемь лет существовало правозащитное движение. Впервые за историю советской власти люди, поборов страх, перестали молчать и нача-

* Дополнительные сведения о процессе над Якиром и мною, а также о лицах, привлекавшихся по нашему делу, можно найти в "Хронике текущих событий", "Хронике защиты прав в СССР" и иностранных газетах за 1972-1973 гг. — В.К.

ли открыто разоблачать беззакония. Это была победа над рабством, в котором мы жили полвека.

КГБ не удалось подавить движение репрессиями. Очевидно, тогда и возник план — обеспечить его. Для этого надо было найти участников движения известных и, вместе с тем, достаточно нестойких; принудить их отречься от дела, предать сам дух движения. По замыслу КГБ это должно было вызвать негодование, презрение, осуждение и — в конечном счете — раскол.

Выбор КГБ пал на Якира и меня. Они не ошиблись. Мы не были людьми, освободившимися от унижительного страха перед коммунистической диктатурой, способными лучше умереть, чем принять позор. Мы были старыми зэками, выросшими в сталинском рабстве, пытавшимися взбунтоваться, но сохранившими навсегда страх перед карательной машиной госбезопасности. Угрозами смертной казни — с одной стороны, подачками — с другой, КГБ удалось сломить нас и заставить участвовать в их низком замысле. А для того, чтобы возмущение общественности было полным, они подарили нам за предательство свободу.

Со дня моего освобождения прошло около десяти лет. Я много раз пытался написать о том, что произошло на следствии. У меня ничего не получалось. Я не смел сказать правду себе, и поэтому не мог сказать ее другим. Я все пытался найти оправдания своему поведению, доказать, что не так уж виноват. И эта новая ложь только усугубляла изначальную. Моя исповедь

людям, перед которыми я так тяжело виноват, осталась ненаписанной. Но совесть продолжала требовать от меня ответа: правды о себе, о том, что я сделал.

КГБ существует для того, чтобы ломать, калечить и душить человеческие души. Но не они одни виноваты в том, что произошло со мной. Они принуждали меня совершать недостойные поступки, но делал их я сам. Я должен был, наконец, назвать вещи своими именами, как бы трудно это ни было. Я должен был сказать, как я отношусь теперь, десять лет спустя, к своему поведению на следствии в Лефортовской тюрьме.

Все эти годы мы с женой постоянно возвращались к тому, что произошло на следствии. Мучительно было об этом говорить, но и не говорить мы не могли. Потеряв надежду, что я смогу написать обо всем сам, я попросил Надю помочь мне и обсудить все происшедшее еще раз от начала до конца, в надежде, что я, наконец, смогу сказать правду.

Мы говорили много вечеров подряд. В этой книге я постарался кратко передать главное, о чем мы говорили.

Апрель, 1983 год

СУД

— Еще до слома на следствии 1972-1973 гг. ты совершил некоторые недостойные поступки. Может быть, стоит начать с этого?

— Когда я был в Сибири в ссылке я позволил себе вступить в торги с ГБ. Сейчас, глядя назад, я вижу, что этот эпизод был началом той нравственной порчи, которая предшествовала моему слову на следствии 1972-1973 гг.

В сибирской ссылке, в Подтесово, в конце 1970 года меня вызвали на допрос. Из Красноярска приехал следователь КГБ Белоусов. Допрос был по поводу моей коллекции фотопленок самиздата. Они изъяли в Киеве фотокопию книги Авторханова "Технология власти". Давал ли я? Кому? Как фотокопия попала в Киев? Я отказался отвечать на вопросы. В конце допроса Белоусов заговорил о благоразумии. Одна из любимых у гебистов тем для бесед "по душам". Хватит, мол, гнить по тюрьмам и лагерям. Так вся жизнь пройдет. Пора образумиться. Он сказал, что если я напишу заявление, пообещав прекратить свою деятельность в правозащитном движении, то мне разрешат вернуться в Москву. И вот: вместо того, чтобы отказаться даже обсуждать эту тему, я сказал: "Хорошо. Я готов дать такие заверения, но только устно". Он ответил, что устным заверениям не поверят, но обещал выяснить у началь-

ства. Договорились, что через недели две он сообщит ответ.

То, что происходило со мной дальше, было еще гаже. Целый месяц я только и обсуждал с тобой — отпустят ли меня в Москву? когда? на каких условиях? Ни о чем другом не мог думать. Никогда не забуду, как однажды, когда мы возвращались из тайги, и я снова заговорил о скором возвращении в Москву, ты вдруг упала на землю и зарыдала, повторяя: "Как тебе не стыдно? Как ты можешь?" А я стоял растерянно, не понимая, что с тобой происходит. Я никого не предаю, а участвовать или не участвовать в движении — это мое дело.

Белоусов не давал о себе знать больше месяца. Я не выдержал. Явился в Енисейское отделение КГБ и попросил свидания с ним. Через несколько дней он приехал. Разговаривал он совсем другим тоном. Он заявил, что КГБ не имеет ко мне никакого отношения, что в ссылку я попал правильно, а если я не согласен, то должен обращаться в соответствующие инстанции — прокуратуру, суд и т.д. На этом мы и расстались.

Из ссылки я вернулся в сентябре 1971 года, отбыв около двух лет вместо пяти. Прокуратура опротестовала мое дело о тунеядстве, а Верховный суд РСФСР отменил приговор. Это решение до сих пор остается для меня загадкой. Никаких переговоров с гебистами я больше не вел. Очень настойчиво хлопотала моя мать, но чьи матери не хлопотали? Ясно, что без санкции КГБ Верховный суд приговоры по диссидентским делам не отменяет. Стало быть, КГБ устроили

мои устные заверения красноярскому следователю или они уже тогда планировали большой показательный процесс и искали для него кандидатов, а мне дали вернуться в Москву, чтобы я добавил материалов для будущего процесса.

Эпизод с Белоусовым был как бы прологом. Он был первым в ряду тех поступков, которые я назвал словом "порча", и которые, в конце концов, подготовили слом и сдачу на следствии.

Когда я вернулся из ссылки, ты была в тюрьме за демонстрацию на Пушкинской площади. И как только появилась возможность, я начал торги о тебе. Недели через две после возвращения, в конце сентября 1971 года, меня вызвали на допрос в Московское управление КГБ. Допрашивал следователь Бардин — по делу Кожаринова. Просил ли я Кожаринова делать фотокопии самиздатской литературы? Давал ли для этой цели фотоаппаратуру? Деньги? и т.д. У них уже были показания Кожаринова. Я отказался отвечать на вопросы. В конце, по установившемуся шаблону, Бардин завел разговор о благоразумии: я должен ценить, что мне разрешили вернуться в Москву; если бы КГБ был против, то я никогда бы Москвы не увидел, и если я "не пойму", то меня ожидают последствия худшие, чем ссылка.

Разговор зашел о тебе. Он спросил, хотел бы я поговорить о твоём будущем с "компетентными товарищами". Я сказал, что хотел бы. Он позвонил кому-то по телефону и пригласил меня пройти с ним. В кабинете ждали двое. Это оказались Карпович и Володин — начальство из оперативного отдела московского управления КГБ,

ведавшего диссидентами. Разговор продолжался часа два. Принесли кофе и булочки. Я выпил кофе и съел булочку, не испытав даже чувства гадливости. Они сыпали именами и эпизодами, проявляя чрезвычайную осведомленность о наших делах. Затем один из них сказал: "Ну, давайте к делу. Вы ведь о Надежде Павловне хотели поговорить. Что вы, собственно, предлагаете?". Я сказал, что хочу, чтобы тебя выпустили. Они не удивились столь странной просьбе. "А вы можете гарантировать, — спросил Володин, — что она не вернется к прежней деятельности?". Я сказал, что гарантировать этого не могу, но могу обещать, что мы уедем из Москвы, скажем, на год-полтора. "Ну, да, — сказал Володин, — вы прописаны в Москве, она — ваша жена. Через год вы вернетесь, и все начнется по-новой". — Он подумал и добавил: "А что, если ваша жена получит ссылку?". Я сказал, что так же, как ты поехала в ссылку за мной, так и я поеду за тобой. Мой ответ их, видимо, удовлетворил.

На твоём суде прокурор Бирюкова, разразившаяся громовой обличительной речью, кончила тем, что попросила для тебя ссылку вместо лагеря. Судья, разумеется, дал то, о чем она просила.

Затем начались торги о месте ссылки. Я просил Володина — поближе к Москве. Он говорил, что на близкие места в МВД нет заявок. В конце концов, он объявил мне, что местом ссылки выбран Енисейск, из которого три месяца назад вернулся из ссылки я. "Там начальство вас уже знает. Легче будет и им, и вам".

— Ты и сейчас рассказываешь об этом как бы с юмором.

— Это потому, что мне стыдно. И я прячу это чувство, подчеркивая комическую сторону дела. Я сделал очень подлое дело. Делая вид, что я торгуюсь за свой собственный счет, я на самом деле торговался с ГБ за счет тех, кто отбывал срока в тюрьмах, лагерях и психушках. Если бы я пришел к ним как частное лицо, то со мной и разговаривать не стали бы. Их именно устраивало то, что подлость делает участник движения. И, уж разумеется, они позаботились, чтобы это стало пошине известно.

— Ты ведь и сам не скрывал, что ведешь с ГБ торги?

— Я настолько был уверен в своей правоте, что даже не скрывал этого от друзей.

— И какова была реакция тех, кто знал об этом?

— Сугубо отрицательная. Наши друзья говорили, что я не имею права вмешиваться в твое решение: ты выбрала свой путь сама; для тебя будет страшным унижением получить поблажку из рук КГБ и что — почему другие должны сидеть, а тебя я выторговываю. Я только отмахивался. Это — мое дело; а вы ничего не понимаете. Что я, собственно, делаю? Пообещал им поехать в ссылку, а за это ты не пойдешь в лагерь. Ты получила ссылку, я был счастлив, что выторговал тебя у них. А через год меня арестовали снова.

— Ты пытался искать пути к компромиссу с гебистами после ареста? Ты прости, что я задаю вопросы, на которые не так легко ответить.

— Я просил не щадить меня и повторяю эту просьбу. Как ни стыдно будет рассказывать об иных поступках, я постараюсь рассказать все честно. Ты имеешь полное право задавать мне любые вопросы. Ты была участником правозащитного движения, перепечатала горы самиздатских материалов, вышла на площадь с требованием свободы политзаключенным, пошла за это в тюрьму. Задавай вопросы без скидок на то, что ты моя жена.

— Итак, что происходило после ареста?

— На десятый день мне предъявили обвинительное заключение. Я написал заявление, в котором отверг предъявленные обвинения и заявил, что никаких показаний давать не буду, так как арестован незаконно. И вот, окончив писать, я вдруг, как бы неожиданно для себя, приписал, что устал сидеть по тюрьмам и лагерям и что, если меня выпустят на волю, я обязуюсь прекратить участие в правозащитном движении. Фраза была чрезвычайно глупая и предложение совершенно безнадежное. Не для того они меня посадили, чтобы выпустить под ничего не значащие обещания. Они, конечно, поняли, что я совсем не так тверд, каким кажусь, и в дальнейшем этим вполне воспользовались. Александровский, прочитав мое заявление, сказал: "Что, собственно, вы предлагаете? Свое неучастие в вашем движе-

нии? Это мы и так имеем. Вы сидите в Лефортовской тюрьме и ни письма распространять, ни антисоветскую литературу перепечатывать, ни таскаться к иностранным корреспондентам уже не можете. Вы готовы выйти из "Инициативной группы?" Я сказал, что готов. "Ну, что такое готов? — спросил он. — Вы уж пишите прямо: выхожу из Инициативной группы. Давайте-ка я вам продиктую, каким должен быть текст вашего заявления, если вы хотите, чтобы руководство КГБ поверило вашим заверениям". И вот я малодушно взял ручку и под его диктовку написал добавление к заявлению. Конечно, никакой реакции не последовало, а когда я как-то спросил его, он рассмеялся: "Вы что? Действительно поверили, что после вашего заявления вас выпустят на волю?"

— Ты часто повторял, что в начале стойко держался и первые уступки начал делать только через два месяца под угрозой смертной казни. Значит, это неверно?

— Да, неверно. Я действительно не давал показания два месяца, но в торги пытался вступить сразу, а через два месяца согласился сдать литературу. И хотя я долгое время считал, что ничего особенно дурного в этом поступке не было, на самом деле, это и было начало слома и сдачи.

— Почему ты согласился сдать литературу?

— Из-за угроз расстрела. Я поверил, что, если я пойду на компромисс, то угрозы 64-й и рас-

стрела прекратятся, и мне оставят 70-ю статью.

— Ты и сейчас считаешь, что угроза расстрела была главной причиной твоего слома?

— Да, считаю. Были и другие причины — о них я скажу после. Но главным было то, что Александровский настойчиво мне внушал, и в конце концов я поверил, что, если я не изменю свою линию поведения на следствии, то меня ожидает смертная казнь.

— Я думаю, в это мало кто поверит.

— Да, я знаю это. Знаю, что и ты в это мало веришь.

— Нет, почему же? Я только думаю, что ты сильно преувеличиваешь значение этих угроз. Во всяком случае, об этом нужно рассказать подробно.

— Угрозы начались почти сразу же после ареста. На четвертый или пятый день утром Александровский не торопился начать допрос. Он прохаживался по кабинету, как бы обдумывая, что сказать. Потом он спросил: "Как настроение?" — "Нормальное, — ответил я. — Плохое настроение бывает обычно в первый день, когда осознаешь, что ты арестован и что это надолго". — "Не скажите, — возразил он, — бывает в жизни арестованного день похуже, чем первый". — "Какой же?" — спросил я, не понимая. — "А последний, — сказал Александровский, — для тех, кого приговаривают к высшей мере". — "Но мне предъяв-

лена 70-я статья, а она не предполагает высшей меры". — "Статья в ходе следствия может измениться, — сказал Александровский, значительно улыбнувшись. — Могут открыться различные дополнительные обстоятельства. В вашем случае это вполне вероятно". Так был сделан первый заход. Еще дня через два-три после очередного тура угроз и запугиваний он сказал: "Если вы не поумнеете, то вас ожидает такой же конец, как героя романа Гюго '93-й год'." — "Я не читал этой книги", — ответил я. — "Жаль, — сказал Александровский, — а то бы вы поняли, что я имею в виду". Когда меня перед отбоем привели в камеру, на столе лежала стопка новых книг. Каково же было мое удивление, когда среди книг я обнаружил роман Гюго. Я присел на койку и жадно прочел конец.

Угрозы смертной казни носили потом гораздо более прямой характер, но никогда я не испытывал такого чувства обреченности, как в эту ночь, читая Гюго.

— Почему ты не потребовал, чтобы Александровского заменили, поскольку он угрожает тебе смертной казнью?

— Во-первых, эти первые угрозы еще не были прямыми, а носили, так сказать, литературный характер. Во-вторых, я собирался опротестовать его действия. На десятый день, когда мне предъявили обвинение, я хотел обратиться к прокурору Илюхину. О том, что он будет присутствовать на этом допросе, Александровский предупредил меня заранее.

— Ты пожаловался?

— Нет.

— Почему? Ведь это был незаконный шантаж.

— О том, что в КГБ законно и что незаконно — эту тему лучше оставить. Не пожаловался же я потому, что Илюхин, прокурор по надзору за КГБ, вел себя еще более агрессивно, чем Александровский. На все пункты обвинения, которые зачитывал Александровский, я отвечал: "Виновным себя не признаю". В конце Илюхин разразился угрожающей речью. Он говорил, что я напрасно упорствую: преступления мои очевидны, в деле имеется столько обвинительных материалов, что он как прокурор с большим стажем по таким делам, искренне удивлен, сколь мягкие обвинения мне предъявлены. Что обвинения должны были быть гораздо строже, и что я должен все это понять и изменить свою позицию. После этого у меня пропало всякое желание ему жаловаться.

— Но ты мог написать заявление на имя генерального прокурора или руководству КГБ.

— Я и собирался так сделать. Но потом передумал.

— Но почему?

— Я побоялся поднимать этот вопрос, чтобы не было хуже. Я боялся, что, если я напишу об этом заявление, то начальство КГБ в ответ на

мою жалобу предъявит мне 64-ю статью.

— То есть тем самым ты позволил Александровскому и дальше шантажировать тебя расстрелом.

— Да, это верно. И это означает, что за эти первые дни Александровский уже добился главного: я еще не давал показаний, но страх уже настолько поселился во мне, что я побоялся пожаловаться на Александровского. Он вернул меня к реальности сталинской эпохи, к тому состоянию задрывленности, в котором жили тогда все. Ведь в сталинские времена за то, что мы делали, расстреляли бы без всяких сомнений. Расстреливали и за гораздо меньшее.

— Но сейчас другие времена. За распространение самиздата сейчас не расстреливают.

— Да, конечно. Но мне инкриминировали не только распространение самиздата. Полтора года я передавал иностранным корреспондентам документы о преследованиях в СССР. Материалы эти публиковались в западной печати. Я получал литературу, а впоследствии и деньги от западных туристов, приезжавших с поручениями от НТС. И не только пассивно получал, но и просил сам: посылал списки, писал письма, в которых говорил, что присылать, что — не присылать. Давал адреса, куда привозить.

Как относится КГБ к связям с этой эмигрантской организацией, ставящей целью вооруженное свержение советской власти, — известно. Поэто-

му, когда Александровский говорил о 64-й статье и расстреле, — это не звучало для меня пустой угрозой, как в случае, если бы я занимался только распространением самиздата.

Кроме того, — и это повлияло на меня в меньшей степени — Александровский постоянно внушал мне, что, если я не изменю свою позицию, то меня расстреляют в качестве примера. Уже недели через три после ареста “литературные” угрозы сменились прямыми: “Хотите поломать нам это дело? Хотите доказать, что КГБ вас не сломал? Доказывайте. Но знайте, расплатой будет высшая мера”. Или: “Если мы вас расстреляем, то ваше движение назавтра прекратит свое существование”. А еще, мне настойчиво внушалась мысль, что санкции эти исходят от самого высшего начальства. Слова: “руководство КГБ”, “лично председатель КГБ” употреблялись постоянно. Александровский говорил, что наше дело раз в неделю докладывается Андропову.

Два месяца мне постоянно внушали, что если я не сдамся, то меня расстреляют в качестве примера. В течение этих двух месяцев я не дал ни одного показания. Отказывался отвечать на любые вопросы. Меня ежедневно держали на допросах с 10 утра до 10 вечера с часовыми перерывами на обед и ужин. В том числе и по субботам, а иногда и по воскресеньям. Ночами я почти не спал, мучаясь от страшных головных болей и бессонницы. Засыпал в 2-3 часа ночи, а в 6 — подъем. За эти два месяца мне предъявили сотни показаний против меня. Вначале Александровский только зачитывал мне куски, а потом клал мне

на стол пачки протоколов, и я читал их сам. Я продолжал отказываться отвечать на вопросы. Не нужно думать, что я уж так легко и просто сдался. На одном из допросов я потребовал у Александровского, чтобы он прекратил шантажировать меня расстрелом. Ты знаешь, что он на это ответил? "Я вас не шантажирую. Я высказываю свое личное мнение. Решать будет наш справедливый советский суд; но лично у меня нет никаких сомнений в том, каким будет ваш приговор, если вам будет предъявлена 64-я статья. Я ваш следователь и хочу, чтобы вы понимали, что вас ожидает. Чтобы вы осознали реальность".

Какая же картина сложилась у меня к концу первых двух месяцев? Инструкции по нашему делу исходят от Андропова. Нас с Якиром выбрали для показательного процесса, который, по замыслу КГБ, должен расколоть правозащитное движение. Якир уже сломан и для процесса готов. Дело за мной. Если я не пойду на компромисс, то процесс провалится, так как все уже знают, что мы должны предстать на суде вдвоем. И если я им это дело поломаю, то расплатой будет смертная казнь.

— Значит, ты решил пойти с ними на компромисс?

— Да, и сдачу литературы я выбрал в качестве пробного шага.

— Но тебе пришлось назвать имена тех, у кого она хранилась.

— Я как-то очень легко уверил себя, что им ничего не грозит. Это были мой брат, а также один мой приятель. К правозащитному движению они никакого отношения не имели. Книги и фото-плёнки у них просто хранились. Третьим человеком была ты. О тебе я беспокоился еще меньше, так как ты уже была в ссылке.

— Как будто ты не знал, что КГБ арестовывает кого им надо и когда им надо, а в качестве предлога они могут использовать все, что угодно, в том числе и хранение литературы.

— Конечно, я это знал. И моя уверенность, что вам троим ничего не грозит, покоилась совсем на другом основании. После двух месяцев следствия я уже ясно понял, что КГБ готовит показательный процесс, на котором Петр и я должны предстать в качестве "раскаявшихся лидеров" диссидентского движения, и если мы пойдем на это, то они будут стараться не сделать ничего такого, что могло бы нас озлобить и сорвать их замысел. Так что решение мое основывалось на том, что я настолько нужен КГБ для предстоящего процесса, что они не решатся причинить вам неприятности. То есть, я внутренне уже согласился на сдачу, а вашу безопасность связал с моим будущим поведением на следствии и суде. И ты была права, утверждая, что мой слом начался со сдачи литературы. Александровский же так настойчиво добивался сдачи литературы именно для того, чтобы заставить меня совершить первую подлость. Все остальные делать было легче.

— Когда ты сообщил Александровскому о своем решении?

— Это было 13 или 14 ноября 1972 года. Я сказал Александровскому, что готов сдать литературу. Он ужасно обрадовался. Но я сказал ему, что сделаю это только в том случае, если он позволит мне увидеться с теми, у кого хранится литература, и я сам им об этом скажу. Он категорически отверг это требование. "Это невозможно. Напишите им записки. Наши сотрудники поедут и изымут. Слово следователя КГБ, что им ничего не грозит". Я стоял на своем. Тогда он сказал, что сам не может этого решить и будет говорить с начальством. На следующем допросе он опять попытался на меня нажать, но увидев, что я уперся, в конце концов согласился.

Первая встреча была с моим приятелем. У него хранилась вся моя коллекция самиздатских фотопленок, катушек до 100, на которых было отснято большое количество неподцензурных книг и материалов правозащитного движения. Фотокопии с этих фотопленок широко ходили. Несколько фотокопий было изъято на обысках.

Я уже был в кабинете, когда его привели. Хотя это и не разрешается, я встал и подошел к нему. С жалкой улыбкой я сказал, что не могу ничего ему объяснить, но у меня сложилось очень тяжелое положение, и я вынужден сдать фотопленки, добавив — словно это зависело от меня — что ему ничего не грозит. Тут вступил Александровский и развязным тоном, которым он обычно говорил со свидетелями, сказал: "Можете не беспокоиться, ни один волос не падет с вашей голо-

вы. Сдадите пленки и поедете домой к жене. Даже на работу не сообщим”.

Мой приятель согласился сдать пленки. Что ему было делать? Я его выдал. Между прочим, оказалось еще хуже. После моего ареста, боясь обыска, он перенес пленки к своему знакомому, и ему пришлось ехать с гебистами туда. Его знакомого дома не было, была жена. Она ничего не знала. Мой приятель долго искал эту коробку с пленками где-то на чердаке, среди хлама, никак не мог найти. Наконец, нашел. Так, первый же мой безответственный поступок поставил под угрозу несколько человек.

Забыл сказать, был еще один важный момент. Когда мы стояли друг против друга, и мой приятель спиной загораживал Александровского, я быстро поднес раза два палец к виску, давая ему понять, что мне грозит расстрел. Но он не понял. Когда я вышел на волю, я его спрашивал. Он расценил этот жест как то, что мне грозит психушка. Так моя первая попытка сообщить на волю об угрозе смертной казни не удалась.

Через день или два мне дали свидание с братом. На мою просьбу сдать книги, он ответил: “Что ж, если надо — сдадим”. Пока Александровский писал протокол, мы сидели у моего столика и разговаривали о каких-то пустяках: как кормят в тюрьме, как я себя чувствую. Об угрозе расстрела я брату не сказал, так как был уверен, что он никому не расскажет, а я хотел, чтобы об этом узнали мои друзья на воле.

Наступила очередь книг, хранившихся в Енисейске, у тебя. Александровский решил ехать

туда сам. Но его поездке предшествовал еще один и особенно низкий эпизод с моим знакомым, который фигурировал на следствии как "человек из Донбасса".

Веня Кожаринов рассказал в КГБ все, что он знал, а знал он много. В частности, о том, куда пошли 15 фотокопий книги Авторханова "Технология власти".

Однажды у меня гостил знакомый из Донбасса. В этот вечер зашел ко мне и Веня. Он видел, как я дал приятелю экземпляр книги Авторханова и позже спросил меня, кто он. Я не назвал его имени, сказал только, что это парень из Донбасса. Так он и фигурировал в показаниях Кожаринова, как "человек из Донбасса".

Веня знал судьбу не всех экземпляров книги Авторханова. Поскольку эта книга считалась в ГБ одной из самых опасных, Александровский постоянно возвращался к вопросу — где остальные экземпляры. Когда я сдал литературу, Александровский опять вернулся к фотокопиям книги Авторханова: "Сдайте хоть одну, и я закрою эту тему". И я сдался. Чтобы не называть остальных, я назвал того, кому "ничего не сделают". Ведь он тоже не имел к правозащитному движению никакого отношения. Случайный человек. Взял почитать. Что ему будет? А Александровский отвяжется. Жалкие самооправдания. Он действительно был случайным знакомым и не был причастен к движению. Я даже не помнил его фамилии. Знал, что он переехал из Донбасса в небольшой город на севере от Москвы, работает в местной газете, учится заочно в Московском

литературном институте и приезжает два раза в год на сессии. В эти дни он и заходил ко мне и жадно читал все, что у меня можно было найти. В книгу Авторханова он просто впился: "Дай мне на полгода, в следующую сессию привезу". Я дал. А теперь назвал его. Данных, которые я сообщил Александровскому, оказалось достаточно. Через два-три дня он положил передо мной его фотографию: "Он?" — "Он". — У парня сделали обыск. Оказалось, что он не только прочел, но и перепечатал на машинке эту книгу, и ему пришлось сдать и книгу, и копию. До нашего суда дело обошлось для него без последствий. Что потом? Не знаю. Но даже, если и потом не было последствий, разве это может мне служить оправданием? Я выдал его, малодушно и жестоко, словно он был пешкой в шахматной игре, "чтобы не выдать других". Других я выдал потом.

— Когда ты сказал Александровскому, что часть книг у меня?

— На том же допросе, когда рассказал об остальных материалах. Он сказал, что полетит в Енисейск сам.

— Тебя не удивило, что он собственной персональной собирает в Енисейск, чтобы изъять два десятка книг?

— Нет, не удивило. Это был предлог. На самом деле, он ехал, чтобы выяснить, нельзя ли через тебя воздействовать на меня. Он и мне предлагал лететь с ним.

— Зачем?

— Для той же цели: чтобы посмотреть на нас вместе и оценить возможности.

— Почему ты отказался?

— Он обещал мне час или два свидания с тобой в Енисейской тюрьме. А потом опять Лефортово. Не захотел. Была еще и тайная мысль: это увеличит шансы на то, что тебя привезут в Москву, и мы увидимся здесь.

— Почему ты думал, что нам дадут встречу в Москве?

— Я был уверен, что они попробуют воздействовать на меня через тебя и, стало быть, обязательно дадут нам хоть один раз поговорить. Перед отъездом Александровского в Енисейск я сказал ему: "Показания на участников правозащитного движения я давать не буду ни при каких обстоятельствах. Я готов признать показания тех, кто показывает на себя и меня, и только. Я понимаю, что одно это вас не удовлетворит. Вам нужен показательный процесс. Я готов признать себя виновным на процессе, но я не сделаю этого, пока не поговорю с Надей. Привезите ее в Москву и дайте мне с ней увидеться. Я хочу знать, что есть хоть один человек на свете, кто будет ждать меня".

— Какова была реакция Александровского?

— Он выслушал очень внимательно и сказал, что я могу не сомневаться — тебя обязательно привезут в Москву уже хотя бы потому, что ты

проходишь по многим эпизодам и обязательно должна быть допрошена в качестве свидетеля.

— Если ты пытаешься понять, что произошло с тобой на следствии, то похоже, что в этом разговоре ты и сдался им.

— И отдал в их руки и тебя.

— А если бы я сказала, что твое намерение признать себя виновным не одобряю ни при каких обстоятельствах?

— Я был уверен, что ты так не поступишь.

— Почему?

— Потому что я обязательно сумел бы дать тебе понять, что мне угрожают смертной казнью, и что это и есть подлинная причина моего решения пойти с ними на компромисс.

— Ты хотел сделать меня участником своего решения.

— Это мягко сказано. На самом деле, я хотел переложить ответственность за это решение на тебя. Так и получилось. Ты взяла на себя мой грех. Я уверен, что все это ты почувствовала сразу, как только услышала мой голос в телефонной трубке.

— Ты ведь не рассказал еще о нашем телефонном разговоре.

— Перед отъездом Александровский сказал, что если ты откажешься сдать литературу, то он

даст нам поговорить по телефону. Он предупредил, что будет слушать по параллельному телефону, и если я скажу хоть одно лишнее слово, он немедленно прервет разговор.

Через два-три дня меня вызвали к начальнику следственного отделения Кузьмину. Он сказал, что сейчас дадут разговор с Енисейском. Напомнил, чтобы я не говорил ничего лишнего. Потом в трубке возник голос Александровского. Потом твой голос. Страшно далеко. Было почти ничего не слышно. Я сказал тебе, что у меня сложилось очень тяжелое положение на следствии, и я вынужден отдать книги. Я повторил несколько раз: "Пойми... Так надо... Ты понимаешь меня?" Ты отвечала, что понимаешь.

На следующий день снова дали разговор. Оказалось, что книги в тайге, и под снегом ты не можешь найти тайник. Я давал советы, куда идти, какие ориентиры и т.д.

Через несколько дней меня вызвали. В кабинете был Александровский. На столе лежала стопка книг. Он передал мне письмо от тебя. Я прочитал твое письмо и понял главное: ты приняла мой грех и поделила его со мной. И тут я хочу коснуться чрезвычайно важной для меня темы. Ты знаешь, что в течение долгих лет я считал, что сдача литературы — это была только незначительная уступка с моей стороны, тактический ход в навязанной мне игре. Ты же всегда говорила, что когда услышала по телефону мою просьбу сдать книги, то тогда уже поняла, что это — все, что я сдался. Я с этим не соглашался, но ты была права. Я не сломался еще внешне, да и сам

ни за что тогда этого не признал бы, но внутренне я уже был сломлен, и ты это почувствовала. Как? Очевидно, человеческое сердце обладает способностью чувствовать на расстоянии, и тон голоса, интонации говорят ему с достоверностью, что происходит с близким человеком. Иначе я не могу объяснить. И ты поняла не только это. Ты поняла также, за пять тысяч километров, по телефону, что я посылаю тебе просьбу о помощи. Все, что произошло с тобой дальше, было исполнением моей мольбы. Ты приняла на себя ответственность за мой слом.

— Что происходило после возвращения Александровского?

— Ничего особенного. Следственная рутина. Я по-прежнему отказывался давать показания на участников движения, но в моей позиции наступили некоторые перемены. Я стал признавать те показания, которые давали на меня, но только в той части, которая касалась меня и лица, дававшего показания. По поводу третьих лиц я отказывался отвечать на вопросы. Так продолжалось до начала января, когда Александровский сообщил мне, что в ближайшие дни ты прибудешь в Москву. А потом, в один печальный вечер меня привели в кабинет, и там была ты.

Помню, как ты встала, подошла ко мне, положила голову на плечо и заплакала. Ты сказала: "Ты знаешь, я даю показания". Я был поражен, и в то же время, как бы не очень. Я спросил: "И о Толе тоже?" Я считал, что о вашей совмест-

ной работе по выпуску “Хроники текущих событий” они не должны знать ни в коем случае, поскольку Яacobсон был одним из наиболее вероятных кандидатов на арест. Ты сказала: “И о Толе тоже”. Мной овладел гнев. Я начал кричать, что я не для этого просил привезти тебя на следствие, а для того, чтобы поговорить с тобой; что, если я не буду давать показания, то твои показания меня не спасут. Что, если я начну давать показания, то твои показания тем более не нужны. Я потребовал, наконец, чтобы ты сняла все свои показания и впредь в следствии вообще не участвовала, иначе я откажусь ходить на допросы. Замечательно, что Александровский все время сидел, закрывшись газетой, и никак не реагировал на мою истерику. Говорил я все это искренне, но вот — загадка. На следующее утро, когда мы снова увиделись, я согласился давать показания. Тогда — что же означало все, что я говорил в тот вечер? Насколько серьезно это говорилось? Это была именно истерика, а наутро я смирился с тем, что произошло. Был как бы выполнен ритуал, или я бы еще сказал: я доиграл благородную роль до конца. Спектакль окончился, и надо было возвращаться к реальности.

— Что еще ты помнишь о том вечере?

— Почти ничего. Помню, что два часа пронеслись как пять минут. Мы сидели друг против друга и говорили о чем-то нашем. Александровский по-прежнему нас не замечал. Позвонили из тюрьмы, что уже десять часов вечера, и пора ме-

ня забирать. Александровский попросил дать еще минут 15, надеясь, что все между нами окончится в этот вечер. Но я, уходя, сказал ему: “Наш разговор с Надей не окончен и завтра утром должен быть продолжен”. С этим меня увели.

Я не спал всю ночь. Ходил от двери до окна, пять шагов туда, пять — обратно. Твое поведение оказалось как бы полной неожиданностью, но я не испытывал чувства возмущения или даже недовольства. Главная же мысль была — что ты это сделала ради меня.

— Ты решил, что ты будешь делать утром?

— Нет. Так и не решил. Я не знал, что я буду делать. Я почему-то думал, что ты согласишься с моими требованиями, снимешь показания и откажешься дальше участвовать в следствии. Но ты не восприняла их серьезно. Поняла, что это просто истерика.

Утром меня вызвали на допрос. В кабинете уже была ты. На этот раз Александровский не дал нам сесть рядом. Ты стояла у окна, рядом с его столом, я сел за свой столик. “Ну, что ты решила?” — был мой первый вопрос. Ты ответила: “Я буду продолжать вести себя так, как начала”. И тогда я сказал: “Ну, что ж, Павел Иванович, вы победили. Я буду давать показания”.

И вот тут я хочу еще раз сказать: если бы я был тверд, то даже то, что произошло с тобой, меня не столкнуло бы с моей позиции. Я бы страшно пережил то, что произошло с тобой по моей вине, но из этого все-таки не следовало, что

я тоже должен давать показания. И если бы я смог так поступить, то и ты прекратила бы давать показания. Это потеряло бы смысл. Ведь твои показания им были не нужны. Но я как-то сразу и без всякой борьбы согласился сдать, то есть, как бы только и ждал достаточного повода. Как только он явился, я тут же сдался. Мне очень много времени понадобилось, чтобы это понять. И только поняв это — главное — что я был готов к слову и сам себя готовил к нему, но только искал достаточный повод, я понял и то, что ты была права, говоря, что сдача литературы — это и был слом. Я только как-то ухитрился растянуть его на два этапа. Стыдно было, по-видимому, так уж сразу и окончательно сдать.

Много лет я упорно не хотел признаться себе, что это так. Все хотел представить дело таким образом, что виноват не я, а ты. Дескать, подтолкнула меня. Если бы я не искал повод для своей сдачи, то никакие подталкивания не подействовали бы на меня. Для тебя же, зная, как ты должна переживать эту катастрофу, я подготовил тоже нечто, что должно было показать тебе, что ты поступила правильно.

— Ты имеешь в виду надпись на руке?

— Да. Под утро в камере я написал на руке крупными буквами: "64-я. Расстрел". Я очень боялся, что при личном обыске они обнаружат эту надпись. Но сошло. В кабинете, когда окончилась официальная часть, Александровский разрешил тебе подсесть к моему столику. Я долго

не решался. Наконец, улучил момент, когда он писал протокол и быстро закатал рукав рубахи и так же быстро опустил его. Но ты успела прочесть.

— Да, я успела прочесть и никогда не забуду твое лицо в эти секунды. На нем был ужас. Тогда я окончательно поняла, что происходит с тобой на следствии.

Ты начал давать показания. Как это было?

— Александровский целый месяц занимался только тобой. Я его почти не видел. Он точно понял, что главное сейчас — не выпустить из рук тебя. Особенно, зная твой взрывной характер. Вдруг сорвешься с крючка. Тогда все рухнет. Если бы ты перестала давать показания, то перестал бы и я.

— Но они могли это скрыть.

— Нет, не могли. Они начали разыгрывать доброжелательные отношения. Это включало и периодические свидания с тобой под видом очных ставок, и ежедневные записки: мои — тебе и твои — мне. Если бы ты прекратила давать показания, то все это прекратилось бы, и я сразу догадался бы, что дело неладно. Этого они допустить не могли. Судьба предстоящего процесса висела на Александровском, и поэтому он держал тебя каждый день с утра до вечера на допросах.

А мне Александровский предложил писать собственноручные показания. Но прежде чем на-

чать рассказ о втором периоде следствия, я хочу вернуться назад и рассказать о методах, которые применялись ко мне в первые четыре месяца. Александровский испытывал разные приемы. И те, которые оказывались действенными, он пускал в ход.

О запугивании, в частности, о нагнетании страха смерти я уже говорил. Но прошло два месяца, и он ничего не добился, если не считать той приписки, которую я сделал к своему заявлению по поводу обвинения. Через два месяца я сдал литературу, но показаний — основных показаний, которых от меня добивались — не давал еще два месяца.. Не могли же они меня вывести на процесс только с тем, что я сдал литературу и фото-плёнки. После сдачи литературы угрозы смертной казни прекратились, и Александровский стал в быстром темпе конструировать “дружеские” взаимоотношения.

Как-то на допросе — это было в конце ноября — начале декабря — Александровский сказал: “Я знаю — вы большой любитель чая. А в тюрьме — какой чай? Подкрашенная водичка, небось?” Я подтвердил, что он не ошибается. “Ну, так давайте заварим чайку!” — воскликнул он. На столе уже стояли пачка чая, пачка сахара, два стакана и кипяtilьник. “Только не подумайте, что я хочу таким способом добиться ваших признаний”. Он заварил чай. Один стакан взял себе, другой дал мне. Я не долго колебался. Взял стакан и начал пить чай. С тех пор чай прочно вошел в мое бытие на допросах. Приводили меня обыч-

но три раза в день, и каждый раз я выпивал по стакану, а то и по два. В начале Александровский обычно тоже пил, но впоследствии, ссылаясь на то, что он не большой любитель чая, заваривал только мне. В конце следствия я настолько потерял стыд, что часто просил его сам: "Павел Иванович, а как там насчет чайку?" — "Сейчас сделаем". И чай являлся. Как-то раз он сказал: "У вас, может быть, появилось подозрение, что я что-нибудь подмешиваю в чай. Так сказать, обрабатываю вас химией. Я знаю — эта мысль очень распространена среди ваших друзей. Выбросьте это из головы. Это самый обычный индийский чай из магазина".

— Что ты думаешь по поводу химии?

— Не знаю. На следствии я ему верил. Сейчас у меня нет определенной точки зрения. Во всяком случае, если бы им было надо, то эти чаи были очень удобным средством химизировать меня в небольших дозах, для поддержания известного исповедального настроения.

— Что было еще, кроме чая?

— Незадолго до нового года Александровский сказал: "У вас ведь язва желудка. Надо бы вам устроить больничное питание. Это не так просто, но я постараюсь". Он постарался, и вскоре мне стали давать больничное питание. Я не отказался. Это опять сопровождалось демагогией, что это делается не для того, чтобы я начал давать показания, а просто из гуманизма и т.д. То-

же перед новым годом он сообщил мне, что будет хлопотать, чтобы мне как больному разрешили дополнительную передачу. Под новый год я получил первую и затем получал их каждый месяц до самого освобождения. Все эти подачи я принимал еще до того, как согласился давать показания в январе 1973 года. Позже, зная, что я курил на воле "Беломор", а в тюремном ларьке его нет, он стал приносить эти папиросы. Я курил их в его кабинете, а иногда несколько штук уносил в камеру. Одной из очень важных подачек было лекарство от головной боли. Меня мучили страшные головные боли, особенно по ночам, после допросов. Это бывало почти ежедневно и продолжалось по четыре-пять часов сряду. Хотелось голову разбить о стену. В тюрьме давали аспирин и то только раз в сутки, да он мне и не помогал. Из-за этих болей и бессонницы засыпал я обычно не раньше двух-трех часов ночи и спал не более четырех часов. А потом на весь день на допрос. Где-то тоже в декабре, когда я снова пожаловался Александровскому на головные боли и что в тюрьме ничего не дают, он спросил, каким лекарством я пользовался на воле. Я назвал "пенталгин". Он сказал, что разрешит матери передавать ему, а он будет давать мне по мере надобности, но только на допросах. Вскоре появился пенталгин. Вначале он давал мне по одной таблетке, но через некоторое время, когда я жаловался на головную боль, стал класть пачку прямо на мой столик: мол, берите, сколько надо. Дело в том, что в пенталгине есть кодеин. Две-три таблетки производят известный эффект, который на

лагерном языке называется "плыть". Поняв, что я охотно прибегаю к "поплытию" и что это отнюдь не вредит моему поведению на следствии, Александровский и давал мне всю пачку на стол. Так что, честно говоря, я сам себе устраивал "химию". Ему оставалось только потворствовать, что он и делал.

Но главное — это было разрешение переписываться с тобой, а впоследствии и видиться на очных ставках, которые только по форме были очными ставками, а на самом деле — свиданиями в кабинете Александровского. Первое письмо он разрешил мне написать еще до его поездки в Енисейск. Потом он взял мое письмо к тебе, когда поехал в Енисейск. А потом, когда тебя привезли в Москву, мы писали друг другу каждую неделю, и он все передавал. Весь второй период следствия — с января по июнь — я жил в ожидании твоих писем и наших свиданий в кабинете. Остальное время пролетало как в бреду.

Многого Александровский достиг лестью, очень действенной по отношению к честолюбивым и тщеславным людям, — а я был таким. Он не жалел времени, чтобы внушить мне, что мы (Якир и я) являемся лидерами движения: "Никакие там ни ... (назывался ряд известных имен), а вы — подлинные лидеры". Люди шли именно за нами, и поэтому мы должны осознавать, какая громадная ответственность лежит на нас за будущее наших товарищей. Особенно тех, кто остались на воле и могут быть арестованы в любой момент. Мы можем спасти их от ненужного ареста. Мы должны честно сказать, что мы заблужда-

лись, что, начав с невинных протестов, скатились на путь борьбы с советской властью; что теперь, наконец, это осознали и призываем своих товарищей остановиться. Этот путь труден. Многие не поймут, по крайней мере, сразу не поймут. Нас будут хаять и поносить. Называть "предателями" и "ренегатами". Но мы должны быть выше этого. Мы уберем десятки людей от ненужного ареста. И это будет нашим оправданием. Только мы можем их остановить и спасти. И остановить их мы можем своим примером. Если я буду упорствовать в своей позиции, занятой в начале следствия, десятки людей пойдут вслед за нами в тюрьму. Принять такое решение трудно, но тем больше чести, ибо для этого требуется подлинное мужество.

Он постоянно возвращался к этой теме, солировал иногда по 2-3 часа сряду, будучи уверен, что в конце концов заразит меня этой скверной. И он не ошибся. Не ошибся он вот в чем: он понимал, что сдаться просто так я не могу, что мне нужны какие-то моральные оправдания. И он подсовывал мне эту апологетику предательства под видом благородного поведения. Я делаю это не ради спасения собственной шкуры. Я жертвую собой ради других. Да, я приму позор, но спасу десятки людей от бессмысленного ареста, и, может быть, гибели в лагере. Мое письмо на волю, заслуженно встреченное с таким гневом, написанное в марте-апреле 1973 года, выразило многие из "идей", которые Александровский внушал мне в ноябре-декабре 1972 года.

— Ты не думаешь, что ты легко принял идеи Александровского о лидерстве потому, что они не очень расходились с твоим собственным представлением о твоей роли в правозащитном движении?

— Несомненно. Я никогда не отличался скромностью, а в правозащитном движении, по мере того, как я оказался в центре событий, мое честолюбие выросло до непомерных размеров. Меня уважали за мое лагерное прошлое, за активность в движении, мне доверяли. Это позволило мне оказывать влияние на людей и на ход наших дел. В конце концов я действительно поверил, что я призван быть "вождем". Я постоянно злоупотреблял доверием людей, вспомни хотя бы эпизод с передачей иностранным корреспондентам первого письма в ООН.

После ареста Григоренко и Габая было решено обратиться в ООН, а также создать правозащитную организацию, которая получила название "Инициативная группа по защите прав человека в СССР". Черновой вариант письма был зачитан на квартире Якира. Был предложен ряд поправок. Решили собраться на следующий вечер и обсудить окончательный текст. На следующий день мы с Петром поехали и передали письмо, не дожидаясь вечернего обсуждения. Мы провели у корреспондентов вечер, а люди — человек 30-40 — ждали нас. По приезде я соврал, что нам назначили встречу, что ее невозможно было перенести и поэтому мы отвезли письмо без повторного обсуждения. Кто-то сказал мне, что ввиду исключительных обстоятельств это можно про-

стить, но вообще так поступать нельзя. Я не обратил на это никакого внимания.

Аналогичный эпизод произошел и после моего возвращения из ссылки. После ареста Якира от Инициативной группы было письмо с просьбой выпустить его на поруки. Я обещал передать это письмо иностранным корреспондентам. Текст его мне не понравился. Я написал от имени Инициативной группы новый текст, более жесткий, и передал его, даже не поставив об этом в известность членов Инициативной группы. На очередном собрании меня спросили, передал ли я письмо. Я сказал, что старый текст не годится, и я передал другой, написанный мною. Один из членов Инициативной группы, едва сдерживая гнев, сказал мне: "Вы хотя бы ставили нас в известность, когда меняете наши решения".

О практике ставить подписи за других я должен сказать подробнее. Я делал это часто. Верно, что некоторые участники правозащитного движения дали мне разрешение ставить их подпись в экстренных случаях, когда связаться с нужным человеком трудно или невозможно. Это особенно касалось тех, кто жил в других городах. У меня были не только устные, но и письменные разрешения от некоторых моих друзей. Но этим правом я злоупотреблял все чаще и чаще. Со временем ставить подписи за других превратилось в некий штамп. Зачем звонить А, Б или В, приглашать их приехать и обсудить текст. Это ведь потеря времени. А через день или два, по опубликовании документа, люди узнавали, что они подписали его, даже не зная содержания. Так своди-

лось на нет одно из самых важных завоеваний правозащитного движения: демократическая процедура, в ходе которой каждый принимает сам ответственное решение, продиктованное совестью. На смену свободному выбору возвращался старый и унижительный стереотип — когда немногие по своему произволу принимают безответственные решения за всех. Один из моих друзей как-то сказал мне: “Ты — большевик наоборот. Чем, собственно, ты отличаешься от них?”

Кроме “лидерства”, постоянной темой был мой антисоветизм. Эта линия выглядела так: “Вы не прячьтесь за советскую конституцию и декларацию прав ООН. В отличие от тех, кто действительно верил, что они борются за демократизацию советского общественного строя, за соблюдение советской конституции и т.д. (верили ошибочно, то есть — заблуждались) — вы *не* заблуждались. Вы только прикрывались этими лозунгами, а на самом деле вы боролись против советского строя. Вы с юных лет, с вашего первого заключения — стали врагом советской власти. И вы этого не скрывали. Кто говорил, что Кремль нужно взорвать, а это место разровнять бульдозерами? Вы. Кто говорил, что Октябрьская революция была катастрофой для России и что большевики погубили народы России, превратив их в покорное стадо? Вы. Что в СССР в угоду коммунистической идеологии удушается всякая свободная мысль и что КПСС осуществляет самую невиданную в истории диктатуру и насилие над человеческой личностью? Что террор есть самая

сущность советской власти? Все это вы говорили. Мотивы вашей деятельности были отличны от мотивов, которыми руководствовалось большинство. Под прикрытием лозунгов о демократизации, соблюдении правовых норм и т.д., вы вели идеологическую борьбу с советской властью. И это еще не все. Вы настолько люто ненавидите коммунизм, что не остановились перед тем, чтобы вступить в связь с НТС — организацией, ставящей целью вооруженное свержение советской власти. Вы не только получали от них литературу. Вы были активной стороной: назначали встречи их представителям, приезжавшим в СССР; просили привозить литературу, давали им составленные вами списки антисоветских книг и настаивали, чтобы эту литературу привозили в первую очередь. Вы распространяли программу НТС, призывающую к вооруженному свержению советской власти. А это — уже не 70-я, а 64-я статья. Мы еще ждем, что вы прислушаетесь к голосу благоразумия. Но наше терпение не бесконечно. Если вы не поумнеете, то вам будет предъявлена 64-я статья со всеми вытекающими последствиями — и вы знаете, какими. И это — та реальность, с которой вам придется иметь дело. Только признание своей вины перед советским народом и искреннее раскаяние могут спасти вас”.

Привнесение антисоветизма в правозащитное движение дало карательным органам то, чего им так долго не хватало: возможность обвинить правозащитное движение в антигосударственной деятельности. Это причинило правозащитному движению огромный вред. И в этом моя вина пе-

ред теми, кто, не задаваясь сомнительными целями и отвергая безответственные методы, протестовали — просто по зову совести — против произвола властей и надругательства над человеческим достоинством.

С того времени, когда я начал рассматривать правозащитное движение как начало политической оппозиции КПСС, а свое участие в нем как антикоммунистическую деятельность, я обязан был уйти из движения, утвердившего свои действия на принципе законности. Я должен был открыто заявить, что я антикоммунист и цель моя — борьба с советской властью. На такой шаг смелости у меня не хватило, и это означает, что я старался использовать правозащитное движение в целях для него неприемлемых и им отвергнутых.

На следствии мои попытки представить себя человеком, боровшимся за соблюдение правовых норм (Декларацию прав человека ООН, советскую конституцию и т.д.) были легко опровергнуты Александровским. На его обвинения в антисоветизме отвечать мне было нечего.

Понадобилась лефортовская трагедия и много мучительных лет, чтобы прийти к простому и ясному выводу: над произволом и беззаконием, как и над всяким злом, подлинной может быть только нравственная победа.

Обработка, которой я подвергался в кабинете Александровского, продолжалась и в камере. Первые пять месяцев моим сокамерником был Игорь Ефройкин. Он уже отбыл в лагерях несколько лет за валюту, и был привезен на дознание. Я рассказал ему вкратце о своем де-

ле. Кое-что он уже слышал и раньше. Он принял самое горячее участие в обсуждении моего будущего. "Тебе грозит высшая мера. Плюнь на все. Сохрани свою жизнь. Это же КГБ! Они тебя поставят к стенке и не поморщатся. Ты же старый лагерник, не мне тебя учить. А друзья повесят твою фотографию. Будешь этим утешаться". — "Я не могу давать показания на друзей. Это — подлость". — "Какая подлость? Что будет твоим друзьям? Вызовут пару раз на допрос? Ты, правда, идиот. Делом руководит сам Андропов. Один телефонный звонок, и тебя разменяют. Ну, не хочешь давать им все, дай хоть что-то".

Мне казалось тогда, что эти ночные разговоры на меня не действуют. Я ошибался. Вернувшись после десяти часов допроса, валясь от усталости, я охотно впитывал "дружеские" увещевания моего сокамерника.

Когда я сдался, я делал по существу то, в чем так настойчиво убеждал меня Ефройкин. "Дай им что-то. Но и возьми с них. Они выпустят тебя на волю". Я дал им не "что-то". Я отдал им свою совесть и честь. Они выпустили меня на волю.

Ефройкина тоже выпустили на волю после окончания нашего дела. Я случайно встретил его в метро. Он бросился обнимать меня. "Видишь, я был прав. Ты вышел на волю".

Выпустили они и второго моего сокамерника, Гену Полосухина, зубного врача, попавшегося на золоте. Он звонил мне после освобождения.

Обработка на следствии состояла из нескольких линий. Мотивы чередовались. Александров-

ский тщательно анализировал, что на меня действует, что — не действует. Нащупывал мои слабые места и сосредотачивался на них. Самым действенным оказалось конструирование душевных приятельских отношений. На этом варианте он окончательно остановился, и в этих тонах протекал весь второй период следствия.

— Этот второй период начался с твоих собственноручных показаний?

— Да, около месяца я писал собственноручные показания. Меня приводили в конференцзал на втором этаже. Там, во главе длинного Т-образного стола сидел майор Ковалев из Львова. В нашем деле участвовало много периферийных следователей, которые приезжали в Москву набираться опыта. Таких приезжавших следователей за год сменилось человек до двадцати. Майор исполнял роль радушного хозяина, который ни в чем не хочет меня стеснять. Вначале происходил какой-нибудь добродушный разговор, в котором майор жаловался на то, как ему надоело торчать в Москве, когда у него во Львове дел по горло, и как ему не терпится уехать. Или рассказывал какие-нибудь подробности из своей службы в пограничном отделе Львовского ГБ. Как они изымают книги у иностранцев "грузовиками", или что-нибудь еще в этом роде. На подоконнике стоял графин с водой, стакан, пачка чая и пачка сахара. Майор предлагал мне не стесняться и заваривать чай, когда захочу, не спрашивая его разрешения. (Сам он никогда не пил.) Я ши-

роко пользовался этим правом и за день заваривал чай раз по пять-шесть. Потом каждый усаживался за свою "работу". Он писал аннотации на "антисоветские" произведения и "клеветнические" документы самиздата, которые мы распространяли, и часто чертыхался, как ему это надоело. А я писал собственноручные показания, исписывая каждый день 12-15 листов бумаги. На следующее утро они лежали на столе в перепечатанном виде, и, прежде чем писать дальше, я подписывал то, что написал накануне.

— О чем же ты писал в этих собственноручных показаниях?

— Обо всем, с самого начала. Как я начал заниматься самиздатом, как затем стал участвовать в правозащитном движении, как познакомился с его участниками.

— То есть, ничего не скрывая, обо всем и обо всех?

— Нет. Не обо всем и не обо всех. Я рассказывал только о том, что уже имелось у них в показаниях

— Откуда же ты знал, в каком объеме у них имеются показания?

— Знал потому, что за четыре месяца Александровский предъявил мне по существу все, что у них было. При закрытии дела, читая показания других, я убедился, что это так. Таким образом, я достаточно хорошо ориентировался в деле. Я

решил, что буду писать только о тех эпизодах, которые уже показаны кем-либо. И эту линию я в основном выдержал.

— Как на это реагировал Александровский?

— На третий или четвертый день он уже заявил мне: "Где же ваше обещание все честно рассказывать? Ваши показания как деревья без ветвей. Вы пишете только о том, что мы уже знаем". Когда он окончил тебя допрашивать и вернулся ко мне, он первым делом стал выжимать из меня показания о том, чего я не рассказал. Несколько раз, не выдержав нажима, я дал показания, но большинство эпизодов, по которым у них не было показаний, так и остались нераскрытыми.

— Каким образом это тебе удалось, если ты, по твоему признанию, был уже окончательно сломлен и находился в состоянии, которое ты сам характеризуюешь как "состояние потека"?

— Это не моя заслуга. Я просто эксплуатировал создавшуюся ситуацию. Ситуация же состояла вот в чем: Александровскому настолько был важен главный результат — то, что я готов на процессе признать себя виновным, что он не стал рисковать им ради второстепенной победы — получить показания еще по нескольким эпизодам. Увидев, что я уперся, он в конце концов отступился.

Долгое время то, что я не давал показания первым, служило мне утешением. Вроде бы, это не

такой тяжкий грех. Ты никогда с этим не соглашалась. Ты говорила: первым или вторым или пятым — это неважно. Важно, что ты дал показания на людей, то есть предал их в руки ГБ. понадобилось много лет, чтобы я понял, что и тут я неправ. Как-то я спросил себя, а если бы я шел по делу один и оказался в аналогичной ситуации — угроза расстрела, последующий слом — что бы я тогда делал? За чью спину я тогда бы прятался? Давал бы я тогда показания? — Да, давал бы. — И без чужих показаний? — И без чужих. — Так, какая же разница? — Никакой. Есть только одна разница: давать показания или не давать.

— Что происходило после того, как ты окончил собственноручные показания?

— Начался период очных ставок. Очные ставки принадлежат к наиболее позорным эпизодам моего следствия. О них очень стыдно рассказывать, особенно о некоторых, но я должен это сделать.

На одном из допросов в начале следствия Александровский сказал мне: "Вы упорствуете, не даете показаний, но попомните мои слова: придет время и мы будем вместе с вами допрашивать ваших диссидентов в этом кабинете". Я тогда рассмеялся, столь нелепой показалась мне его уверенность. И вот — прошло несколько месяцев, и я уговаривал моих товарищей последовать моему примеру и пойти на сделку с ГБ.

Начиная очные ставки, Александровский преследовал две цели: продемонстрировать общест-

венности мои так называемые "новые взгляды", а также попробовать соблазнить других последовать моему примеру. "Идеология" для моего поведения на очных ставках была выработана: это называлось "спасать" оставшихся на воле участников движения от неизбежного и теперь уже бессмысленного ареста.

Для репетиции была выбрана Ира Белогородская, арестованная в начале января 1973 года. Наша очная ставка состоялась в конце января. Перед каждой очной ставкой Александровский подготавливал меня. Это не носило характера инструктажа с указаниями, что я должен говорить. Обрисовывалась ситуация и предлагалось помочь. Нет, не им, не КГБ, а тому заблуждающемуся, который только усугубляет положение своей бессмысленной позицией отказа давать показания. Об Ире Александровский сказал мне, что она показаний не дает, ведет себя вызывающе, следователей называет "сталинскими соколами" и таким поведением только усугубляет свое положение на следствии.

Мы сидели в кабинете за моим следственным столиком, и я в первый раз излагал мои "новые взгляды". Спротивляться бесполезно. Нас все равно раздавят. Так зачем же напрашиваться на максимальный срок. Поняв это, Петр и я пошли на компромисс с ГБ. Ты должна поступить так же. Ира смотрела на меня удивленно и растерянно. Она не ждала от меня подобных советов. "Почему? Почему? Я не понимаю, что изменилось?" — повторила она несколько раз. Я заученным тоном опять объяснял ей, что все теперь измени-

лось. Что теперь новая ситуация — осажденная крепость. Нужно капитулировать с меньшими жертвами. Ира не дала мне ответа. Сказала, что подумает. Позже она начала давать показания, и ответственность за ее слом будет всегда лежать на мне постыдным грузом.

После удачной репетиции Александровский пещил, что настало время показать меня широкой публике. "Ваши новые взгляды должны узнать на воле. Вам нечего стесняться. Ваши взгляды правильны и выстраданы в тяжелой борьбе с самим собой. Если вы спасете хоть одного-двух человек от ареста — это достаточная награда".

Для того, чтобы сообщить мои "новые взгляды" на волю, был выбран Ю. Гендлер.

Гендлер был арестован в Ленинграде летом 1968 года. Он и его приятели обвинялись, в частности, в том, что получали от меня фотопленки антисоветских произведений, делали фотокопии и распространяли их. Гендлер дал на следствии показания, а на суде признал себя виновным. Он получил три года и, отбыв их, вышел на волю. Летом 1972 года его вызвали в Москву и допрашивали обо мне. Он отказался от своих показаний 1968 года. Допрашивал его Александровский, уже собиравший на меня материалы. Гендлер решил меня предупредить. Он позвонил мне по телефону и сказал, что должен повидать меня по важному делу, а потом начал говорить о своей вине. Я сказал, что не сужу его: я знаю, что такое КГБ и как они умеют ломать людей. Вечером он приехал. Я еще раз сказал ему, что ни в чем его не виню. То, что с ним случилось — это

беда, и я готов протянуть ему руку. Он рассказал, что его допрашивали обо мне и вызовут снова. Причина, на основании которой он отказался подтвердить свои показания 1968 года, показалась мне неубедительной. Он говорил теперь, что пленки получал не от меня — это он точно вспомнил — а вот от кого — этого он не помнит. Я предложил ему свалить на кого-нибудь из эмигрировавших, так как было невероятно, что кому-нибудь разрешат вернуться в СССР. В качестве кандидата предложил Вольпина. На следующем допросе Гендлер так и сделал. Он рассказывал мне потом, каким хохотом разразился Александровский. Он сказал Гендлеру, что им известно, что тот ночевал у меня и что, несомненно, я и подсказал ему идею "мертвых душ". Гендлер, однако, настоял на своем, и в протоколе было записано, что пленки он получал от Вольпина.

Теперь, на очной ставке, узнав, что я подтвердил его показания 1968 года, он растерялся. Он сказал мне, что боится подтвердить эти показания, так как подал документы на выезд из СССР, и, получив от него подтверждение его прошлых показаний, чекисты могут завести на него новое дело. Я сказал ему, что дело обстоит как раз наоборот. Если он будет настаивать на своих новых показаниях, то он их обозлит, и они не дадут ему уехать. Гендлер сказал, что он подумает, а через несколько дней подтвердил, что его старые показания правильны. Нам разрешили сесть рядом, и я излагал ему теорию "осажденной крепости" и необходимости капитуляции. Гендлер сказал, что он передаст все подробно нашим друзь-

ям, но сомневается, чтобы мои "новые взгляды" были встречены сочувственно, особенно теми, кто сидит в лагерях.

Следующим, кого я уговаривал избежать "бесмысленного ареста", был о. Сергей Желудков. Приезжая из Пскова в Москву, он останавливался иногда у меня. Он брал у меня читать самиздат. Однажды его остановили в метро, обыскали и изъяли две или три книги, взятые у меня. И вот мы сидим рядом, и я уговариваю его сдать имеющийся у него самиздат и избежать ареста. (Александровский накануне сказал мне, что у Желудкова много самиздата и что он продолжает его распространять.) Я подтверждаю, что книги, изъятые у о. Сергия в метро, дал ему я. О. Сергей отказывается подтвердить мои показания. Он говорит, что он — священник, и его убеждения не позволяют ему давать показания на арестованных. Я продолжаю уговаривать о. Сергия. Он грустно смотрит на меня. Вмешивается Александровский и начинает грубо на него нажимать. У о. Сергия дрожат руки. Он говорит, что у него нет самиздата и ему нечего сдавать. Очная ставка оканчивается. О. Сергия уводят. Я чувствую жгучий стыд и говорю Александровскому, что если он будет так грубо разговаривать со свидетелями, то я больше в очных ставках участия принимать не буду. Уговаривать людей повторять за мной низости я готов, но это, видите ли, должно делаться корректно.

Разговор с Гариком Суперфином на очной ставке — одно из самых подлых дел, которое я сделал на следствии. Очной ставке с Гариком

предшествовал довольно странный разговор. Александровский спросил меня, кого, по моему мнению, они арестуют следующим. Я отказался гадать на эту тему. Он настаивал: "Вы так хорошо разбираетесь в диссидентских делах, что, очевидно, можете предугадать, кто следующий кандидат". Мне бы молчать, но из самолюбия я ляпнул: "Наверное, один из кандидатов у вас теперь Суперфин". — "Вы угадали, — сказал Александровский. — И я хочу поговорить с вами именно о Суперфине. Материал на него большой, и мы можем его арестовать хоть сегодня. Но мы не кровожадны. Вы имеете возможность убедиться в этом. У Суперфина есть значительный архив. Пусть сдаст его, и, слово следователя КГБ, мы его не арестуем. Согласны ли вы поговорить с ним на эту тему?" Я сказал, что должен подумать. Я сказал тоже, что архива у Гарика может и не быть, что, боясь обыска, он мог рассовать его по знакомым. "Ну, если у него нет архива, пусть сдаст хоть что-нибудь. Пусть наберет мешок самиздата и принесет, а если он боится сдать нам в руки, пусть придет ночью и поставит его на крыльцо". — "На какое крыльцо?" — спросил я. — "На крыльцо Лефортовского следственного изолятора", — сказал Александровский. — "Вы что — смеетесь?" — "Нет, я говорю совершенно серьезно". — "И в этом случае вы его не арестуете?" — "Не арестуем".

Я обещал подумать. В камере я решил, что поговорить с Гариком имеет смысл. Это соответствовало моей тогдашней концепции "спасать" других от ненужного ареста. Мешок самиздата

казался мне вполне приемлемой платой за то, чтобы не попасть в тюрьму. Любопытно, что я без всяких сомнений поверил и в “крыльцо КГБ” и в то, что его не посадят. На следующий день я сказал Александровскому, что готов поговорить с Гариком, а еще через несколько дней состоялась эта очная ставка. Поводом для очной ставки была книга П. Реддавея “Неподцензурная Россия”, на которой рукой Гарика были сделаны исправления. Сигнальный вариант книги осенью 1971 года передал мне один из американских корреспондентов с просьбой высказать критические замечания, которые он обещал передать Реддавею. Гарик обнаружил в книге много ошибок (были спутаны имена, даты арестов и судов). Он все это исправил, сделав коррективы на полях. С этими исправлениями книга и вернулась ко мне. Ее изъяли на обыске, и Александровский неоднократно допрашивал меня, кто сделал исправления. В начале следствия я отказывался отвечать на этот вопрос. Потом как-то Александровский заявил мне, что они установили, кто автор исправлений. “Это Суперфин, — сказал он. — Это подтверждается и почерковедческой экспертизой”. Позже, когда я начал давать показания, я признал, что исправления сделал Гарик.

И вот Гарика ввели в кабинет. Он сидел против стола Александровского, метрах в трех от меня, с совершенно отрешенным и как бы отсутствующим видом. На вопрос Александровского, он ли редактировал книгу Реддавея, Гарик ответил, что не он. О почерковедческой экспертизе Гарик сказал, что она может быть ошибочной.

Александровский спросил, подтверждаю ли я свои показания. Я подтвердил. "Вы как будто чего-то боитесь?" — спросил Александровский Гарика. — "Да, я боюсь, — сказал Гарик. — Боюсь лично вас, Павел Иванович". Александровский отошел к окну и демонстративно повернулся к нам спиной. Наступила моя очередь.

Я сказал Гарика, что над ним нависла угроза ареста, но что его можно избежать. "Сдай им архив, уезжай на год из Москвы, и они оставят тебя в покое". — "У меня нет архива", — сказал Гарик. — "Ну, собери тогда какой-нибудь самиздат и принеси им. Это их устроит". Гарик молчал. Я стал убеждать его, что если такой ценой можно откупиться от ареста, то это, безусловно, стоит сделать. "Ты боишься, что наши друзья тебя осудят. Если тебе грозит арест, и можно уйти от него ценой сдачи нескольких десятков книг, ты имеешь полное право не обращать внимания на то, что скажут о тебе другие". Гарик продолжал молчать. Заговорил Александровский: "Красин сказал вам все правильно. Сдайте архив, и вас не тронут. Нет архива, сдайте самиздат. Но учтите: вам сделано предложение. Второй раз мы уговаривать вас не будем". — "У меня нет ни архива, ни самиздата", — сказал Гарик. Очная ставка окончилась.

Через несколько месяцев Гарика арестовали. Сообщив мне об этом, Александровский сказал: "Ну, вот: он не послушал вашего совета и теперь сидит в Лефортово. А мог бы избежать ареста".

Гарика арестовали не только за редактуру книги Реддавея. Его обвинили также в участии в

выпуске "Хроники текущих событий" и в передаче на Запад дневников Э. Кузнецова. Но моральная ответственность за арест Гарика лежит на мне. Я убеждал его делать подлости, я подсовывал ему низкие оправдания.

После ареста Гарик показания давал, но в дальнейшем ходе следствия и на суде от них отказался. И это его ответ мне. Ответ верующего человека заблатненному лагернику, спасавшему свою шкуру. И в том мучительном процессе, который происходил во мне все эти годы, в безуспешных попытках сказать правду самому себе, — образ человека, восставшего из глубины падения, постоянно стоял перед моим духовным взором. И так же, как я толкал его на низости, так же и он — но только в прямо противоположную сторону — звал меня очиститься от той скверны, в которую я погрузился по своей собственной воле.

Очная ставка с Ильей Габаем была посвящена эпизоду, которому КГБ придавал чрезвычайно важное значение, поскольку эпизод этот шел под рубрикой "организационная деятельность".

Весной 1968 года, вскоре после окончания процесса Галанскова — Гинзбурга, несколько человек собрались, чтобы обсудить итоги этого процесса и особенно невиданное доселе количество писем-протестов и подписей.

Эпизод этот я признал. Габай отказался подтвердить мои показания. Он сказал, что в таком составе мы собирались столь часто, что он просто не помнит, имела ли место эта встреча. Может быть — да, может быть — нет. Александровский

бесился: “Как же вы можете не помнить такую важную встречу? Этого не может быть! Это собрание послужило началом создания так называемой ‘организации без организации’. Там вы решили издавать ‘Хронику текущих событий’ и приняли ряд других важных организационных решений”. Илья повторил, что он не помнит такой встречи. Александровский сел писать протокол. Илья спросил, может ли он задать мне вопрос. Александровский разрешил. “Ты даешь показания потому, что их дает Петр или по другим причинам?” Александровский вскочил. Он кричал, что это провокационный вопрос, что он вправе как следователь не разрешить мне на него отвечать. Наконец он сказал: “Ну, хорошо. Пусть Красин ответит”. Я ответил: “Ты мог бы и не задавать мне этот вопрос. Ответ на него ясен и так”. Илья сказал: “Тогда все понятно”. Что же понял он из моего ответа? Что я даю показания потому, что их дает Якир? Скорее всего — так. Но это неправда. Я ввел Габая в заблуждение. После слома я давал бы показания и без Якира. Я просто переложил на него ответственность за свое поведение.

Нам разрешили поговорить, но разговор не получился. Александровский подсел к нам третьим. Мы молчали, а он говорил. Он говорил, что Илья должен понять правильность нашей с Петром позиции и поддержать нас. Написать документ, который показал бы, что он не только нас не осуждает, но и поддерживает. Илье настолько гнусно было все это слышать, что минут через пять он сказал: “Если официальная часть закон-

чена, то я просил бы разрешения уйти". С этим он и ушел.

Очная ставка с Юрием Мальцевым была посвящена передаче документов на Запад. Я начал встречаться с иностранными корреспондентами осенью 1968 года. Вскоре у меня установились постоянные контакты с несколькими американскими корреспондентами, и я регулярно передавал им новые документы правозащитного движения.

Но в американской печати публиковали далеко не все. Я решил дублировать передачу документов в надежде, что это увеличит шансы на их публикацию. Я просил своих друзей, знакомых с иностранными корреспондентами, передавать им новые материалы и снабжал их копиями. Одним из тех, кто помогал мне в передаче документов, был Ю. Мальцев. Наша очная ставка была посвящена этим эпизодам.

Проводил ее не Александровский, а майор Сучков из Калининграда.

— Ты признал, что просил Мальцева передавать западным корреспондентам материалы правозащитного движения?

— Да, признал.

— А Мальцев?

— Он все отрицал.

— На кого еще ты дал показания в связи с передачей документов на Запад?

— На Амальрика. Его допрашивали по моим показаниям в Магадане.

— Он тоже отрицал твои показания?

— Да. Оба заняли одинаковую позицию. Они говорили, что я все забыл и перепутал. По-видимому, я собирался их об этом просить, а потом со временем стал думать, что просил на самом деле. Ссылались они на то, что у меня ужасная память и вдобавок очень богатое воображение.

— Как проходила очная ставка с Мальцевым?

— Окончив задавать вопросы, Сучков сел писать протокол, а нам с Мальцевым, подражая Александровскому, и, видимо, с его разрешения, разрешил посидеть рядом. Я решил сообщить Мальцеву, что мне угрожают расстрелом. Я страшно боялся, так же, как и тогда, перед очной ставкой с тобой, когда писал на руке: "64-я. Расстрел". Но решил сделать это во что бы то ни стало, так как другой возможности могло не представиться. При Александровском я уже не решился бы этого сделать.

— Почему?

— Был уже раздавлен и деморализован до такой степени, что из страха перед его гневом побоялся бы. Когда я увидел, что очную ставку ведет Сучков, я решил: сейчас — или никогда.

Зорко следя за Сучковым, а тот был весь погружен в писание протокола, среди ничего незначащих ответов: "чувствую себя нормально; кор-

мят прилично” и т.д. я знаками, мимикой и шепотом сумел сказать ему это. Несколько раз я быстро приставлял палец к виску, а затем незаметно постукивал слегка по стенке, давая понять, что мне грозит “стенка”, давно уже известный символ расстрела, и говорил при этом громко: “все нормально”. А губы шептали: “понял?” Юра кивал головой. Еще раз постучав по стенке, говорил: “вот так, в этом все дело”. Или: “ничего не поделаешь”. И опять губы шептали: “понял?”. Юра кивал головой. Он все понял. И в этот же вечер поехал к нашим друзьям и рассказал.

— Откуда ты знаешь?

— От него самого. Он рассказал мне, когда я вышел из Лефортово. Но я узнал об этом гораздо раньше.

На следующий день, когда меня привели в кабинет, там был Александровский, примчавшийся, несмотря на грипп. Он был в бешенстве. Первый вопрос: “Что вы вчера сказали Мальцеву?” — “Ничего. Обычные вещи: чувствую себя нормально, кормят хорошо”. — “А почему по Москве пошли разговоры, что вам угрожают смертной казнью?”. Он так и выразился: “по Москве пошли разговоры”. — “Не знаю. Я ничего об этом не говорил. Спросите Сучкова, он проводил очную ставку”. Александровский вызвал Сучкова. Тот стоял перед ним и трясся от страха, а Александровский отчитывал его, как школьника: “Что Красин говорил Мальцеву?” — “Ниче-

го особенного. Я ничего недозволенного не слышал”.

— С кем еще у тебя были очные ставки?

— Была очная ставка с Ирой Якир.

— Чему была посвящена эта очная ставка?

— По возвращении из ссылки я получал от иностранных корреспондентов много книг, изданных на Западе. Как-то мы были у корреспондента “Лондон Таймс”. Я, Петр, Ира и кто-то еще. Я попросил у него какие-то книги. Он что-то дал мне. Этому и была посвящена очная ставка.

На этой очной ставке — для этого Александровский и устроил ее — я передал Ире мое письмо на волю, в котором я излагал свою “новую позицию” о капитуляции. Это было гнусное письмо, в котором, используя всевозможные демагогические доводы, я доказывал, что конец правозащитного движения неизбежен, и, стало быть, надо капитулировать с меньшими жертвами. Мне рассказывали потом, какое возмущение вызвало чтение этого письма.

С Александровским было договорено, что я отдам Ире письмо в конце очной ставки. Письмо лежало у меня в кармане. И я забыл. Очная ставка окончилась, сопровождающий увел Иру. Александровский говорит: “А письмо?” И тут только я вспомнил: “Что же делать?” — спросил я. — “Выйдите в коридор, и если они еще не завернули за угол, окликните Иру и отдайте письмо”.

Я вышел за дверь. Они еще не завернули за угол. Я позвал Иру. Она оглянулась и совсем растерялась. Я стоял в коридоре один. Я позвал ее. Она подошла. Я сказал: “Я забыл отдать тебе письмо”, — и протянул ей. Она взяла его, все еще глядя на меня ничего не понимающим взглядом. Я вошел в кабинет.

— На этом очные ставки окончились?

— Были еще очные ставки с тобой — четыре или пять, но все они давались Александровским в виде вознаграждения “за хорошее поведение”. Стыдно вспоминать об этом. Как мы сидели рядом и говорили об одном — о том, что скоро все кончится, и мы останемся вдвоем — и больше ничего нам не надо. Вот мы и остались вдвоем, одни на всей земле — и ничего хуже в человеческой жизни не бывает. Одиночество и отчаяние. Да тебе все это известно не хуже, чем мне.

— А с Петром у тебя были очные ставки?

— Да. Две или три. Поводом для очных ставок были расхождения в наших показаниях, впрочем, незначительные. На самом деле, гебисты проверяли нас, так сказать, на совместимость.

— Что это значит?

— Им важно было убедиться, что мы не будем ссориться, и на процессе не возникнут противоречия, которые заставят усомниться в искренности нашего поведения.

— Ну, и что же выяснилось?

— Выяснилось, что два старых зэка, выросших в сталинском рабстве, готовы делать все, что от них потребуют, и будут вести себя на процессе, как гебистам надо.

Петром руководил только страх. Это было написано на его лице, слышно в его голосе, даже в позе, в которой он сидел на стуле, а я делал вид, что по-прежнему не боюсь, а веду себя так только потому, что нет другого выхода, и все решения принимаю сознательно. Это, по-моему, особенно гнусно, так как на самом деле я боялся так же, как и он. А как боялся он, я сейчас расскажу. На последней очной ставке, посвященной самым тяжким эпизодам — нашим контактам с посланниками НТС — Петр был особенно взвинчен. На нем буквально не было лица. Мы сидели рядом. Я что-то говорил ему, он меня не слышал. Ноги и руки у него дрожали. Я сказал ему: “Что ты так трясешься? Дело сделано. Мы им все дали. Бояться уже нечего”. Он ответил мне шепотом: “Пока не предъявят окончательное обвинение, я ни в чем не уверен. Они все возьмут, а потом предъявят 64-ю и расстреляют”. Заметь, это было в самом конце следствия, очевидно, за месяц или даже за полмесяца до закрытия дела, а Петр все еще ни в чем не был уверен и ожидал самого худшего конца.

— А ты?

— А я был уверен, что все окончится в нашу пользу.

— Почему?

— Я знал, что этот процесс им настолько нужен, что у них просто нет другого выхода, как обойтись с нами милостиво, и показать всем, что за предательство КГБ щедро платит. Это и должно было произвести тот эффект, на который они рассчитывали: негодование, возмущение и презрение к нам. А поскольку мы делали все, что от нас требовалось, им не оставалось другого выхода, как щедро нам заплатить.

— И, понимая все это, — ты сознательно делал то, чего они от тебя хотели?

— Да. Петр делал это только из-за страха, а я еще и из расчета.

— Какого?

— А такого: раз уж нет выхода, раз я не в силах принять смерть — так надо хоть взять от них все, что можно. Выйти на волю и уехать на Запад.

— Ты был так уверен, что выпустят на волю, да еще и на Запад дадут уехать?

— Уверен, конечно, не был, но возможность такую вполне допускал.

• — Об очных ставках все?

— Все. А теперь я расскажу эпизод с деньгами от НТС.

В конце следствия, когда объем показаний мне был хорошо известен, я обнаружил, что о получении четырех тысяч рублей от НТС они не знают. По крайней мере, в протоколах этого нет. Петр, по-видимому, не рассказал об этом эпизо-

де, потому что он боялся: если они захотят все-таки переквалифицировать дело на 64-ю, то этот эпизод будет для них просто находкой.

— Почему же ты решил о нем рассказать?

— Потому что, если бы этот эпизод стал известен, особенно после закрытия дела, то последствия могли бы быть самые нежелательные. Представь: за год следствия они не вскрыли самый криминальный эпизод нашей деятельности. Разумеется, начальство их за это не похвалило бы. Дело могли вернуть на доследование: а вдруг еще что-нибудь очень важное не раскрыто. Чтобы не произошло никаких непредвиденностей, я и решил этот эпизод рассказать.

— Ты не боялся, что за этот эпизод могли действительно переквалифицировать дело на 64-ю?

— Нет. Был уверен, что в общем балансе это уже ничего не изменит.

— Как ты рассказал?

— На одном из допросов сказал Александровскому, что есть важный эпизод, который им неизвестен. Он насторожился: "А что? Очень важный? Если какой-нибудь второстепенный, то не надо. У нас и так уже материалов хватает". Я сказал, что эпизод очень серьезный, и я считаю нужным его рассказать. Ну, и рассказал. Как мы встретились с французами — представителями комитета Божара, и я просил их привозить не только литературу, но и деньги. Как через несколько месяцев

приехал представитель итальянской группы Европа Чивильта и привез 4000 рублей.

— Тебе пришлось назвать, кроме тех, кто был причастен к использованию этих денег, т.е. Петра, меня и Вали Савенковой, еще и совсем постороннего человека, согласившегося по доброте держать у себя дома эти деньги. Этот человек даже не знал, что это за деньги и откуда они.

— Да. И это тяжкий мой грех. Но, как я уже говорил, я в то время о таких "мелочах" не думал. Я продолжал разыгрывать шахматную партию, и люди были для меня только фигурами в этой игре.

Допросили всех участвовавших в этом эпизоде, а тебя опять вызвали из Енисейска в Москву. Подсчитали, куда были потрачены деньги. Тут опять приходится говорить о постыдном — часть денег была потрачена на личные нужды. Я распоряжался этими деньгами, как своими. Например, когда я хотел, чтобы ты приехала ко мне в ссылку, а у тебя не было своих денег на дорогу, я говорил тебе по телефону, чтобы ты взяла из этих денег. Петр поступил честнее: после получения денег, он сразу отдал на помощь тысячу рублей и потом еще давал.

— Ну, и на выпивки ваши ушло немало.

— Да. Мы чувствовали оба, что скоро посадят, и не знали никакого удержа.

— Особенно ты.

— Да, особенно я.

Окончились очные ставки, наступило закрытие дела. Оно тянулось недели три. Каждый день приносили по 10-15 томов. Я их просматривал.

Очень много было вспомогательных материалов. Например, были приложены обзоры нескольких десятков дел, связанных с нашим, иногда самым косвенным образом. Они старались раздуть дело, как можно шире. Было очень много томов с документами, которые мы распространяли. На каждый документ — аннотация. Несколько томов были посвящены публикации документов на Западе — вырезки из западных газет с аннотациями АПН. Несколько томов радиоперехвата: записи передач Би-Би-Си, "Голоса Америки", "Свободы", "Немецкой волны", "Радио Канады" и др., посвященных тем или иным документам — тоже, разумеется, с аннотациями. Моих показаний было три тома. Было томов до 30-ти свидетельских показаний. Эти тома я читал особенно внимательно.

— Искал, много ли людей вели себя так же, как ты?

— Наоборот. Радовался тому, что подавляющее большинство отказывалось отвечать на вопросы.

После подписания 201-й статьи об окончании дела наступило ожидание суда. В июле, за месяц до суда, меня неожиданно вызвали. В кабинете были Александровский и прокурор Илюхин, тот

самый, который заверял меня в том, что мне предъявлены слишком мягкие обвинения.

— Зачем они тебя вызвали?

— Формально — узнать, не жалуюсь ли я на что-нибудь. На самом деле Александровскому надо было посмотреть, не происходят ли со мной какие-нибудь нежелательные перемены. Перемен со мной никаких не произошло. Я был сломлен раз и навсегда. Был какой-то пустой разговор с шуточками и прибаутками. Меня больше всего интересовало, скоро ли суд. "Скоро, скоро. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы сократить срок. Вот и Михаил Иванович (Илюхин) вместо того, чтобы держать дело три месяца — ведь 150 томов — отложил все и отработал его за три недели — будьте ему благодарны". Словом, в таком духе.

— В эти дни ожидания не появлялась ли у тебя мысль — отказаться от показаний на суде?

— Мысль появлялась, но я чувствовал, что я этого не смогу сделать. Я совершенно поверил в то, что сказал Александровский еще в конце следствия: "В этом случае суд будет немедленно остановлен. Дело вернут на переследствие. Будет предъявлена 64-я статья со всеми вытекающими последствиями. Какими — вы знаете". Выстоять против этого у меня не хватило духу в начале следствия, когда силы еще были. Теперь, когда я был сломлен, подличал, докатился до самого дна — встать мне было уже невозможно.

И вот наступил день суда. Он начался 27 августа 1973 года.

Дня за три до суда меня привели к Александровскому. Он сообщил мне, что ожидание окончилось, и суд начнется в ближайшие дни. "Вы должны вести себя так же благоразумно и твердо, как на следствии, и можете рассчитывать на то, что к вам будет проявлена максимальная снисходительность. Ваша характеристика и рекомендации КГБ приложены к вашему делу, и они гораздо гуманнее, чем вы могли бы ожидать. Большого я сказать не могу, я сказал вам и так много. Верьте, что все будет хорошо".

Я сказал ему, что он может не опасаться никаких сюрпризов с моей стороны. Что я выбрал свою позицию, что это решение сознательное и менять я его не собираюсь. — "Ну, вот и хорошо, — сказал он. — Я всегда был уверен в том, что благоразумие в вас победит". На такой ноте мы с ним и расстались.

И вот судебный зал. За столом судья и два заседателя, в стороне прокурор. Прокурор был специально выбран "мягкий и некровожадный", как сообщил мне Александровский. В зале — представители советской общественности, корреспонденты советских газет, телевидения. Всего человек, наверное, до ста. Конечно, и гебешники в штатском. Звукозаписывающая аппаратура. В ходе суда нас неоднократно фотографировали, и наши снимки появились потом в иностранных газетах — процесс ведь широко освещался в западной печати. Снимки были рассчитаны, очевидно, на то, чтобы показать западной публике, что у нас нор-

мальный вид, что мы не валимся со скамьи подсудимых и не превращены в ненормальных, не отвечающих за свое поведение людей.

В зале моя мать. Жена и дочь Якира. Из друзей же никого. Не допустили даже близко к суду иностранных корреспондентов. Их машины останавливали в полукилометре от здания суда.

Суд начался. Зачитали обвинительное заключение. "Признаете ли себя виновным?" — спрашивает судья. Сначала Петра. Он встает: "Да, признаю". — "Полностью или частично?" — "Полностью". Я повторяю те же ответы. Начинаются вопросы по существу обвинения. Их задают попеременно судья и прокурор. Признаем ли мы, что систематически занимались антисоветской деятельностью, направленной на подрыв советского государства. Мы признаем. Что деятельность эта выразилась в том, что сами и с помощью своих единомышленников, которых мы вовлекли, мы писали, собирали подписи, организовывали перепечатку и распространяли клеветнические документы; что передавали эти документы за границу с целью опорочить и дискредитировать Советский Союз перед западной общественностью. Что распространяли эти документы в Москве и других городах Советского Союза. Что получали от иностранных корреспондентов антисоветскую литературу и распространяли ее в СССР. Что на своем преступном пути не остановились даже перед тем, чтобы вступить в контакт с НТС — организацией, ставящей целью свержение советской власти вооруженным путем. Ответы наши кратки. "Да, признаю". "Это верно". Уточняющих вопросов немного.

Судья и прокурор имеют четкие указания: дело не затягивать, уложиться в два-три дня, а надо еще и свидетелей допросить. Нам жестких вопросов не задавать — спускать все, так сказать, на тормозах. Они это и делают. Наш судебный допрос занял, по существу, один день. На следующий день уточнялись какие-то детали.

На третий и четвертый день допрашивали свидетелей. Вызвали немногих. Человек десять, может быть, пятнадцать. Свидетели допрошены. Объявлен перерыв. После перерыва речь прокурора, из которой мы сможем узнать, наконец, что нам "дадут".

В перерыве к нам подходит лейтенант, офицер из охраны Лефортовской тюрьмы, и спрашивает шутливым тоном, чего мы ждем от прокурора. Мы пожимаем плечами. "Ну, вот, — говорит он весело, — перед каждым из вас микрофон. Что, если на каждый микрофон дадут по три года лагерей и три года ссылки? Устроит это вас?" Мы молчим.

В перерыве нас спускают в подвал. Забыл сказать: накануне я написал судье записку с просьбой держать нас с Петром вместе в перерывах. Судья разрешил. Нас заводят в камеру, у Петра начинается истерика. Он кидается на конвой, кричит: "Мы им дали все, сукам, а нам по шесть лет". Конвоиры (это лефортовские надзиратели) растерялись. "Успокойтесь, Петр Ионович. Все еще будет хорошо". Я утащил его внутрь камеры и, как мог, успокоил.

После перерыва прокурор, окончив обвинительную речь, просит для нас именно то, о чем го-

ворил лейтенант: на каждый микрофон по три года лагерей и три года ссылки. Нас увозят в Лефортово. Завтра приговор.

Когда нас привезли в Лефортово, меня сразу вызвали. В кабинете полковник Володин, начальник следственной группы, ведущей наше дело; Кислых, следователь Петра Якира, и Александровский. Приводят Петра. Нас заверяют, что какой бы ни был приговор, это не должно нас смущать. По лицу Петра вижу, что он им не верит. А я верю. Я знаю, что так и будет, как они говорят. Это им нужнее, чем дать нам срок. Срок все смажет: нас простят. А КГБ нужно, чтобы нас не простили. Поэтому-то, если и не из зала суда, но нас отпустят домой. Чтобы все плевали в нас и бросали камни.

На следующий день зачитывается приговор суда. Судья повторяет то, о чем просил прокурор: три плюс три. Нас увозят в Лефортово.

Не прошло и получаса, дверь камеры открылась, и на пороге появился тот самый лейтенант, который так точно предсказал наши сроки. "Собирайтесь, быстренько, — и уже на ходу, — вас примет председатель КГБ". По дороге меня перехватил начальник тюрьмы — полковник Петренко — он и ввел меня в кабинет.

Из-за стола встал высокий грузный человек в очках и пошел навстречу мне. "Вы можете идти", — сказал он Петренко. Тот вышел. Мы остались вдвоем. "Я — председатель КГБ Андропов", — сказал он, протягивая мне руку. Я пожал его руку. — "Узнаю вас по портретам", — ответил я. Он предложил сесть. Разговор начался.

“Мне доложили, что у вас назрел кризис доверия к КГБ”. — “Неудивительно, — сказал я. — Мы сдержали свое слово, а нам дали по шесть лет”. — “Ну, на это не обращайтесь внимания. Подайте заявление на кассацию, вам снизят до отсуженного и пока оставят ссылку. Далеко мы вас отправлять не собираемся. Можете сами выбрать город поближе к Москве. А там пройдет месяцев восемь, подадите на помилование и вернетесь в Москву. Нельзя же было вас выпустить из зала суда. Согласитесь, вы с Якиром наломали изрядно дров. Кроме того, ваш процесс мы широко освещали в печати. А приговор по кассации публиковать не будем”.

Хозяин закончил первую часть речи. Он сказал, что он нам даст. Впоследствии все так и было. Потом он сказал: “Вот вы пишете в своих документах, что в СССР происходит возрождение сталинизма. Вы действительно так думаете?” — Я сказал, что имеется много фактов, свидетельствующих об этом. — “Это — чепуха, — сказал Андропов. — Возрождения сталинизма никто не допустит. Все хорошо помнят, что было при Сталине. В руководстве на этот счет имеется твердое мнение. Я знаю, что Якир и вы незаслуженно пострадали в сталинские годы. Знаю, что погибли ваши отцы. Все это не прошло бесследно для вас. Между прочим, после войны я тоже ждал ареста со дня на день. Я был тогда вторым секретарем Карело-Финской республики. Арестовали первого секретаря. Я ждал, что арестуют и меня, но пронесло”.

Лирическая часть окончилась. Андропов при-

ступил к делу. "А как вы смотрите на то, чтобы выступить на пресс-конференции перед иностранными журналистами? Они столько лжи пишут о вашем деле. Нужно прочистить им мозги. Чтобы на Западе знали, что вы говорили на суде не под давлением, а по доброй воле. Только не думайте, что я вас покупаю. Если не хотите — то не надо. Все то, о чем я говорил, будет и без этого".

Нужно было отвечать. Времени на обдумывание было несколько секунд. Я мог отказаться. Я ответил: "Я уже говорил о своей вине на суде. Могу повторить это и на пресс-конференции. Какая разница?" — "Ну, вот и хорошо, — сказал Андропов. — Это правильное решение. А то подняли целую бучу вокруг вашего процесса. Кто вы по специальности?" — спросил он. — "Экономист". — "Когда вы освободитесь, мы возьмем вас в наш научно-исследовательский институт". — Я промолчал. — "Есть ли у вас какие-нибудь вопросы или просьбы ко мне?" — спросил он. "Да, — ответил я. — Я хотел бы поговорить с вами на тему, которая представляется мне очень важной. Попытаюсь сформулировать кратко.

Между органами власти, КГБ, в частности, и советской интеллигенцией сложились очень напряженные отношения. В этой ситуации КГБ действует только репрессиями. Если вы заинтересованы в том, чтобы как-то умиротворить эту ситуацию, надо показать, что КГБ умеет не только карать, но и миловать. Например, освободить кого-либо из тех, кто давно сидит, и к чьей судьбе особенно сильно привлечено внимание общественности".

Он слушал меня с видимым вниманием. “Кого вы имеете в виду?” — спросил он. Я назвал одну фамилию. — “Но он ведь больной человек”, — возразил Андропов. — “Я не врач, — сказал я, — но из общения с ним, а я близко его знал, у меня сложилось твердое убеждение, что он вполне здоровый человек. Но дело даже не в моем мнении. Я знаю, что недавно врачи рекомендовали его на выписку из психиатрической больницы, а прокуратура отменила это решение”. — “Я этого не знал, — сказал Андропов. — Если это так, то я посмотрю, что можно сделать. Вы напишите заявление о своих предложениях. Я с ними ознакомлюсь”.

Как он понял то, что я ему сказал? Конечно, как торг: я прошу дать сдачу за свое согласие участвовать в пресс-конференции. И он понял правильно. Разве меня волновала участь людей, о которых я собирался писать в заявлении? Волновала, но далеко не в первую очередь. Я заботился о другом — подготовить оправдания своему поведению в Лефортово, когда выйду на волю. Для этого я и просил у него дать сдачу людьми.

Перед тем как отпустить меня, Андропов сказал: “Если у вас будут какие-либо жалобы, предложения, в том числе и личные, не стесняйтесь, пишите. Обещаю вам, что я прочту и сделаю все, что можно”. Аудиенция окончилась. Вошел Петренко и повел меня назад в камеру.

— Значит, ты мог отказаться от участия в пресс-конференции. Андропов сам сказал, что это

— твое дело: участвовать или не участвовать.

— Он меня просто прощупывал. Ему надо было, чтобы я согласился добровольно, а не под давлением. Представь себе, что на пресс-конференции произошел бы срыв, и я сделал то, что не решился сделать на суде: сказал иностранным журналистам, что все, что публиковалось в печати о нашем деле, — это ложь. Что нас заставили вести себя так под угрозой смертной казни. Скандал был бы громадный. Ему нужно было мое добровольное согласие. И, конечно, ему нужна была эта пресс-конференция, и из-за этого он и приехал в Лефортово сам. Вспомни, что он сказал, когда я согласился: "Это правильное решение".

— Почему же ты все-таки согласился? Ты ведь рассказывал, что Александровский еще в ходе следствия несколько раз прощупывал, согласишься ли ты на участие в пресс-конференции, и ты всегда отказывался.

— Это верно. Тут очень ярко проявилось то, что я говорил о "сталинском рабстве". Александровскому, следователю КГБ, я еще мог отказаться. На его зондажи об участии в пресс-конференции я отвечал всегда: "хватит с меня и суда". Они поняли, что на пресс-конференцию я не соглашусь. Поэтому Андропов и приехал сам. И они не ошиблись. Отказать главному начальнику — хозяину жизни и смерти — у меня не хватило духа.

— Расскажи о пресс-конференции.

— Пресс-конференции предшествовала интенсивная подготовка. Каждый день меня приводили в кабинет Александровского, и мы отработывали вопросы и ответы. Я категорически отказался говорить о психушках. “Ну, тогда эту тему придется отдать Петру Ионовичу”, — сказал Александровский. Так я свалил самую подлую часть предстоящего позорища на Петра. “Главное, — не волнуйтесь. Чувствуйте себя уверенно. Вы ведь будете говорить то, что думаете, — говорил Александровский, глядя на меня с издевательской улыбкой. — Ненужные вопросы к вам не попадут. Во-первых, вопросы можно будет задавать только в письменном виде. Они будут попадать к представителю МИДа, он будет их просматривать и решать, на какие вопросы вам нужно ответить, а на какие — нет. Каверзных вопросов он вам не передаст. Он человек опытный, и ошибки не сделает. Главное — чтобы вы не ляпнули чего-нибудь сами”. — “Ну, а если я забуду, что отвечать?” Это было похоже на состязание двух бесов. — “Вы что, — студентом не были, что ли? — отвечал Александровский, смеясь. — Шпаргалками никогда не пользовались?” — “Так что? Я положу перед собой лист с ответами? Ведь это могут заметить”. — “Да не лист. Напишите мелким почерком на спичечном коробке. Главное. Одни тезисы”. — “Не уместится”. — “Уместится. Пишите помельче”.

Накануне пресс-конференции на прогулку меня привели в совсем незнакомый мне дворик с садом и фонтаном. Оказывается, у них есть и такой. “Для иностранцев”, — объяснил мне Петр. Это был узкий дворик вдоль стены с асфальти-

рованной дорожкой, яблоневыми деревьями и старым облупившимся фонтанчиком, из которого сквозь засоренную трубку едва сочилась вода.

Туда привели и Петра. А еще через несколько минут к нам присоединились Александровский и Кислых. Мы гуляли вчетвером, и наши следователи давали нам последние наставления. Нет, не инструкции, а "дружеские" советы. Главное — спокойствие. Помнить — что мы правы. На иностранных корреспондентов и их реакцию не обращать никакого внимания. Они соберутся на зрелище, так сказать, — в цирк, а наша задача — сказать правду и чтобы правда была напечатана в иностранных газетах. "Вместо всей той клеветы, которую вы публиковали за рубежом годами. У вас теперь есть возможность исправить свои грехи. И помните, что КГБ вас не оставит. Если пресс-конференция примет нежелательный характер, то представитель МИДа объявит, что вы устали, и пресс-конференция будет прервана".

А вечером меня снова повели на прогулку. Уже с месяц, по ходатайству Александровского, мне разрешали две прогулки в день. На этот раз — в обычный прогулочный двор. На душе было плохо. Я лег на лавку лицом вниз и так пролежал весь час. Мой сокамерник Полосухин раза два осведомлялся, не болен ли я. Я попросил оставить меня в покое.

Перед тем, как выйти из прогулочного дворика, я обернулся на следственный корпус. Одно окно было освещено. В окне были видны две или три фигуры. Они смотрели на меня.

Из камеры меня сразу вызвали. В кабинете были Александровский, Кислых и генерал Волков, начальник следственного отдела центра; я видел его впервые. Они были очень обеспокоены, не заболел ли я? Если я себя плохо чувствую, то пресс-конференцию можно отложить. Я сказал, что откладывать не надо. Чем раньше — тем лучше. Привели Петра. Мы стали клянчить у генерала Волкова, чтобы нас посадили в одну камеру. Следствие ведь закончилось. Волков сказал, что у него нет возражений, и после пресс-конференции это можно устроить. Нас так и не посадили вместе. По-видимому, наши следователи убедили Волкова, что делать этого не надо.

Опекуны убедились, что ничего страшного со мной не произошло. Я просил не откладывать пресс-конференцию. Она состоялась в назначенное время, 5 сентября 1973 года.

Александровского очень заботило, чтобы на пресс-конференции у меня был приличный внешний вид. Поскольку мой костюм был очень изношенный, он хотел достать мне новый костюм через тюремную администрацию. Но дело решилось проще: новый и очень хороший заграничный костюм дал мне мой сокамерник Полосухин. К костюму полагается галстук, а в тюрьме галстуки держать не разрешают. Накануне пресс-конференции Александровский снял с себя и повязал мне на шею свой галстук. Я выступал на пресс-конференции в костюме своего сокамерника и в галстук своего следователя.

На пресс-конференцию нас везли не в "воронке", а на "волгах". С Петром ехал начальник

тюрьмы Петренко, со мной — тот лейтенант, который пообещал нам по три года лагеря и три года ссылки на каждый микрофон.

В здание клуба журналистов нас ввели через черный ход. На лестнице, на каждой площадке, дежурили гебисты. В комнате перед залом, из которого уже слышался гул голосов, был генерал Волков и врачаха из лефортовской санчасти. Она осведомилась, здоровы ли мы. Мы были здоровы. На столе стояла минеральная вода. Мы выпили по стакану. Генерал Волков сказал, что он верит, что мы не подведем.

Мы вошли в зал. Сели каждый за свой стол. Зал был уже набит до отказа. Проектора, звукозаписывающие установки. Появился прокурор Маляров, заместитель Руденко. Он произнес вступительное слово. О том, что Якир и я совершили тяжкие преступления против родины — в течение нескольких лет, в целях подрыва советской власти, распространяли в СССР и за границей злобные антисоветские материалы, порочащие советский строй. Увлекли на этот путь многих своих знакомых и друзей. По существу, создали антисоветскую организацию. Но в процессе следствия осознали свои преступления, все честно рассказали и раскаялись в содеянном. А поскольку о нашем поведении в западной печати распространяются различные инсинуации, мы готовы ответить на вопросы иностранных корреспондентов, чтобы те не сомневались в нашей искренности.

Затем выступил представитель МИДа. Он сказал корреспондентам, что они могут задавать лю-

бые вопросы, но только в письменном виде. Что он будет просматривать их и отдавать нам только те, которые имеют непосредственное отношение к делу.

Корреспонденты начали подавать записки с вопросами. Представитель МИДа проглядывал их, часть откладывал в сторону, а те, на которые мы должны были отвечать, он оглашал вслух. Затем он спрашивал, кто из нас ответит на вопрос. Поскольку роли наши были распределены, мы без труда решали, кому отвечать.

Вопросы были нам хорошо знакомы — все они были уже проработаны в лефортовских кабинетах. Что мы говорили? Приблизительно то же, что и прокурор. Что мы озлобились на советскую власть еще в лагерях в результате незаслуженно отбытых сроков. Что, выйдя на волю и будучи антисоветски настроены, начали распространять антисоветские материалы. Сначала в Москве, потом в других городах, а потом и за границей. С целью опорочить советский строй и нанести ему идеологический ущерб. Что втянули в свою преступную деятельность многих наших знакомых. Что все это мы осознали в ходе следствия (спасибо нашим следователям, они очень помогли нам понять наши преступления). И что все это мы говорим не под давлением, а от чистого сердца, и никто не должен сомневаться в нашей искренности.

Мне даже не пришлось заглядывать в шпаргалку: спичечный коробок с "тезисами" пролежал передо мной зря. Никаких срывов не произошло. Пресс-конференция продолжалась с час.

Потом представитель МИДа заявил, что мы устали, что вопросы можно задавать до бесконечности, и что пресс-конференция окончена.

Мы встали и вышли за кулисы. Генерал Волков пожал нам руки и сказал, что мы были "на высоте". На "волгах" же нас привезли обратно в Лефортово.

Что я чувствовал в эти часы? Ничего. На душе было пусто. Рад был, что все уже позади. Оставалось еще месяц-два до кассации. А потом — свобода. Как я буду жить после всех подлостей, которые я сделал, — об этом я тогда не думал. Лишь бы поскорей выйти. Там будет видно.

— Теперь, когда ты рассказал все главное, я хочу спросить: если бы тебе не угрожали расстрелом, а тебя ожидал только срок, давал бы ты показания или нет?

— Я всегда был уверен — эта вера осталась со мной и поныне — что я устоял бы. Говорить мне об этом неловко. В это действительно трудно поверить, зная, что еще до ареста я шел с ними на компромиссы и, особенно, после всего, что я сделал на следствии. Но есть факты, которые могут подтвердить мою правоту.

— Например?

— Например то, что в КГБ тоже считали, что угроза срока не заставит меня давать показания.

— Из чего это видно?

— Из того, что угрозы смертной казни нача-

лись с первых же дней ареста. Если бы они были уверены, что смогут сломить меня в ходе обычного следствия по 70-й статье, то зачем им понадобилось угрожать мне расстрелом и притом так быстро?

После первых же допросов Александровский убедился, что я показаний давать не буду, а поскольку у них было предписание сломить меня любой ценой и вывести на показательный процесс, у них не оставалось другого выхода, как прибегнуть к угрозам смертной казни. Это подтверждают и некоторые высказывания следователей.

В конце следствия у меня бывали с ними откровенные разговоры. Они были настроены благодушно. Дело, порученное им высоким начальством, было сделано. В одном из таких разговоров начальник следственной группы полковник Володин рассказывал мне об Александровском: как он заметил его "талант", когда Александровский работал еще в калининском управлении КГБ; как он вытащил его оттуда в центр. "Павел Иванович — это государственный ум, — говорил Володин. — Ему даже у нас в центре тесно. Его место — в ЦК". Потом он заговорил о нашем деле: "Когда было принято решение о вашем аресте, я поставил перед руководством вопрос так: вашим следователем должен быть или Александровский, или никто. А знаете, Павел Иванович очень нервничал в первые месяцы. Казалось, что все дело провалится".

Обрати внимание на последнюю фразу: "Казалось, что все дело провалится". После того,

как я не давал показаний два месяца, у них, по-видимому, сложилось впечатление, что даже угрозы смертной казнью на меня не действуют. Увы, это было неверно. Яд, который Александровский вливал в меня, постепенно сделал свое дело. Я был уже внутренне сломлен, они только этого не видели. Поэтому Александровский и не мог скрыть радости, когда я заявил, что решил сдать литературу. Первая брешь была пробита.

Есть и высказывания Александровского, которые говорят о том же. На одном из допросов в начале следствия он сказал: "Вы думали, что отделаетесь 70-й статьей и поедете загорать на нарах? Вы ошибались".

Что, собственно, означает эта фраза? По-моему, признание того факта, что я был готов к 70-й статье и к "нарам" И это так и было. Верно, что в 1972 году я был готов к аресту гораздо меньше, чем в 1968 и 1969. В 1968 они могли арестовать меня по ленинградскому делу (Гендлер и другие). Там было достаточно показаний на меня. Я спросил как-то Александровского, почему они этого не сделали. "Нам не нужен был еще один герой", — ответил он. Они арестовали меня в 1969, но предпочли выслать по тунеядству, а не затевать процесс.

В 1972 арест явился для меня неожиданно. Я вел переговоры в московском управлении КГБ, чтобы меня и тебя выпустили за границу. Они дали согласие, хотя ты была в ссылке. Когда меня привезли в Лефортово, я испытал очень горькие минуты. Помню, я сказал себе: "Что ж, вместо Запада придется ехать на Восток.

Ничего не поделаешь. Арестовали — придется сидеть”.

На первом допросе, когда Александровский предъявил мне постановление об аресте, я сказал ему: “Виновным я себя не признаю и никогда не признаю. Показаний никаких давать не буду. Вы не услышите от меня ни одного слова”. В конце следствия, когда речь зашла о моем поведении в первые месяцы, Александровский сказал: “Мы знали, что лагеря вы не боитесь”. О причинах слома тоже был очень показательный разговор. Александровский спросил меня как-то, почему Якир начал давать показания. Я ответил: “Объяснение очень простое. В нем с детских лет, с его первого ареста живет страх. Мистический страх перед госбезопасностью. Он знает, что вы можете сделать с человеком все. Этот страх (его точнее назвать ужасом) остается в человеческой душе навсегда. Сообразите, сколько людей убили на расстрел из тех камер, в которых он сидел мальчишкой; и сколько людей расстреляли в тех лагерях, где он отбывал свои сроки. Вы вернули его к сталинской расстрельной реальности. Вот и вся причина его слома”.

Александровский ухмыльнулся. Лицо его было в этот момент отвратительно. Он сказал: “Я думаю, вы правы”. Я не сказал Александровскому, что и мой слом произошел по тем же самым причинам, но он это понимал и без меня.

Заканчивая эту тему, я хочу еще раз сказать: доказать я ничего не могу, но мое внутреннее ощущение говорит мне и сейчас — как и в день ареста — что если бы они не угрожали Петру и

мне смертной казнью, то мы показаний на следствии не давали бы и честно отбыли свои сроки в лагерях.

Петра шантажировали еще и угрозой ареста его дочери. И это тоже была реальная угроза, поскольку Ира была очень деятельной участницей правозащитного движения.

То, что я рассказал, возможно, покажется тебе неубедительным, но свою точку зрения я высказал.

Давай вернемся к тому, что происходило в Лефортово после пресс-конференции.

Я был уверен, что разговор с Андроповым о "милосердии" никаких последствий иметь не будет. Они получили то, что им надо, можно и не давать сдачу. Но я ошибся.

Как-то вечером меня привели в следственный кабинет. Там был Кислых. Александровский уехал отдыхать. Заслуженный отдых после года напряженной работы, окончившейся таким успехом. "У вас готово письмо, которое вы обещали председателю?" (Они обычно так и называли Андропова — председатель.) — "Нет, — растерянно сказал я. — Набросаны вчерне кое-какие мысли, но готового текста нет". — "Надо его сделать сегодня. Я сейчас приглашу машинистку, а вас тем временем отведут в камеру, возьмите свои черновики и будете прямо с них диктовать". — "Что за спешка?" — спросил я. — Он улыбнулся своей чекистской, ничего не говорящей улыбкой и сказал: "Начальство требует".

Через полчаса, приведя в порядок свои наброски, я уже диктовал текст этого документа. Сна-

чала шла демагогия, уже изложенная в разговоре с Андроповым, — о “конфликтных” отношениях между интеллигенцией и КГБ, о необходимости умиротворения, чтобы КГБ проявил терпимость и милосердие, и в конце список тех, кого я рекомендовал представить к “милосердию”.

Прошло еще несколько дней. Я опять стал думать, что продолжения не будет. Чистая формальность: я обещал письмо, Андропов это запомнил и спросил. Теперь его положат в папку — и навсегда. Я опять ошибся. На этот раз в кабинете был Александровский. Он был зол. Его вызвали с юга, из санатория, где он отдыхал. “Вам все не сидится спокойно, — вырвалось у него. — А мне пришлось прервать отдых”. — “Почему?” — наивно спросил я. — “Пришлось. Не все же я должен вам докладывать”. Он начал свое излюбленное прохаживание по кабинету. На этот раз оно длилось дольше обычного.

“У меня есть для вас хорошая новость”. — “Что? Уже на волю выпускают?”. — “Да, на волю, но пока не вас”. И он опять интригуяще замолчал. — “А кого?” — “Вы писали письмо председателю?” — “Писал”. — “Имеется решение перевести из психиатрической спецбольницы в больницу общего типа — и тут он произнес фамилию, которую я назвал в разговоре с Андроповым. — Что же касается остальных, то не думайте, что всех их выпустят оптом. Каждый случай будет разбираться отдельно. И для тех, кто продолжает упорствовать в своих антисоветских взглядах, как (он упомянул две фамилии из моего списка), никакого смягчения не будет. Они должны так же,

как и вы с Якиром, признать свою вину перед государством, найти в себе мужество публично в этом признаться, и тогда они могут рассчитывать на снисхождение. Но не иначе”.

— Ты думаешь, что КГБ действительно освободил кого-то в ответ на твое письмо?

— Они сделали это, конечно, по своим собственным соображениям, но представили дело так, чтобы я думал, что это в ответ на мою просьбу. Кроме того, они легко разгадали мой замысел: подготовить для себя оправдания в случае освобождения. Но они поняли еще и то, чего не понимал я: что это вызовет не оправдание, а, наоборот, дополнительное возмущение.

Андропов сдержал обещание: я получил свободу в обмен на предательство. По кассации нам снизили пребывание в заключении с трех лет до отсиженного — мне до 13 месяцев, Якиру — до 16-ти. Ссылку оставили в силе на три года.

Мы обсудили с нашими следователями, в каких городах мы хотели бы ее отбывать. Я — по совету Александровского — в Калинин. Александровский много лет работал в калининском областном управлении КГБ, многих там знал и посоветовал мне выбрать Калинин, так как у него там друзья; они помогут мне устроиться. Я не отказался.

Я должен был освободиться 12 октября 1973 года. Накануне нам с Петром разрешили посидеть в одной камере. Им хотелось послушать, о чем мы будем говорить перед выходом на во-

лю. Петр должен был освободиться через девять дней после меня — 21 октября.

Подслушивая нас, наши "пастыри" должны были остаться довольны. Это был совершенно блатной разговор. Мы говорили о том, что мы выхлебали с ним все дерьмо, а нас за это бесчестят наши бывшие друзья. (Об этом нам было уже достаточно известно из рассказов наших следователей, которые подготавливали нас к тому, что ждет нас на воле, и разжигали в нас злобу к нашим бывшим друзьям.) Мы говорили, как это несправедливо: мы спасли десятки людей от ареста, а они нас позорят. Ну, и черт с ними, подлецами. Когда-нибудь поймут, какую жертву мы принесли ради других. Проживем и без них. Найдутся добрые люди, которые нас поймут и будут поддерживать с нами отношения. А не найдутся, тем хуже для них. Мы и сами проживем. В таком духе мы разговаривали часа два-три. Потом меня увели.

А на следующий день, вручив мне прямо в камере паспорт, меня вывели в лефортовский двор. Там уже ждала "волга". Неподалеку стоял Кислых (Александровский опять куда-то уехал). Кислых произнес последние напутствия: будьте тверды, не поддавайтесь на провокационные обвинения ваших бывших друзей. Знайте, что вы поступили правильно. Ну, и КГБ, конечно, вас не оставит и поможет вам устроиться в новой жизни.

Эта новая жизнь и началась с того, что они дали "волгу", чтобы отвезти нас с тобой на место привилегированной ссылки — в Калинин. "Но-

вая жизнь" была периодом в каком-то смысле еще более гнусным, чем следствие. Низости на следствии все-таки делались под давлением. Теперь, на свободе, подлости делались уже по своей воле, меня к ним не принуждали.

За несколько дней до выхода из Лефортово, в кабинете Кислых меня познакомили с Сергеем Ивановичем Соколовым, моим будущим куратором на воле. По всем вопросам, которые отныне могли у меня появиться, я должен был обращаться к нему, звоня из Калинина в Москву. Это был пожилой гебист лет 60-65, всегда одетый в штатское. По-видимому, он был важной персоной, так как был вхож к самому Андропову. В калининскую ссылку "на волю" нас сопровождал его адъютант, Булат Бузарбаевич Каратаев, майор КГБ, казах по национальности.

Мы приехали в Калинин уже вечером. В одной из центральных гостиниц для нас был снят номер. Когда мы вошли в вестибюль, и Булат, как его называли диссиденты, собирался уже уходить, я растерянно спросил: "А что? Мы теперь останемся одни?". Они добились, чего хотели. Я уже без гебешников не мог и шага ступить. Булат тут же позвонил, и через 10-15 минут в вестибюле появился пожилой гебист в штатском, оказавшийся заместителем начальника калининского областного управления КГБ. Его звали Алексей Егорович Серов. Он сказал, что ему уже сообщили о нас, и Павел Иванович Александровский, которого он хорошо знает, лично просил его помочь нам в устройстве. Договорились, что на сле-

дующее утро мы встретимся и обсудим наши бытовые дела.

И вот — принятие подачек, начатое мной еще в Лефортово, продолжалось теперь и на воле. Ведь можно было снять комнату, самому найти работу. Но я предпочитал, чтобы обо мне заботился КГБ. Он и заботился. Серов объявил нам, что скоро сдается новый дом, и для нас там предусмотрена двухкомнатная квартира. В СССР люди по 15 лет стоят в очереди на квартиру даже в Москве, а в провинциальных городах и дольше. А нам дали сразу. Для КГБ ведь нет ничего невозможного. Меня “устроили” инженером-экономистом на полиграфкомбинат в отдел математического обеспечения — там недавно установили компьютер. Делать там мне было абсолютно нечего — это была типичная советская синекура. Я отсиживал восемь часов, читал “из-под полы” книги и журналы, и умер бы от скуки, если бы не придумал сам исследовать производительность типографского оборудования.

Из Москвы старые друзья мне передавали: на следствии, на суде ты вел себя позорно, но там хоть как-то понятно — КГБ еще раз тебя поломал; но перестань принимать подачки на воле. Хватит позориться. Я продолжал принимать, мне не было стыдно. Мне было на все наплевать. Цинизм, появившийся у меня еще на следствии, прочно вошел в мою душу. “Наплевать мне на всех и на все” — стало надолго главным принципом моего поведения.

Но с тобой дело обстояло не так благополучно. Тебя мучила совесть. Вспышка могла произойти в любой момент.

В Калинин приехал Александровский. Якобы проездом. Следствие окончилось полгода назад, и с тех пор я уже не был в ведении Александровского. Но разобраться в том, что происходит с нами в Калинин, попросили именно его.

Он пришел к нам, когда я был на работе. Ты его не приняла. Отказалась с ним разговаривать. Вечером, когда я вернулся с работы, он пришел снова. Принес торт. Мы пили чай, и он нес какую-то околесицу: что не все, кто уезжает на Запад, являются изменниками родины; что в Калинин уже было несколько случаев подачи заявлений на выезд, и людям разрешили уехать. Он всячески давал нам понять, что КГБ не будет препятствовать нашему выезду на Запад.

Время шло. Я не забывал обещания Андропова: "... а месяцев через восемь подадите на помилование и вернетесь в Москву". Конечно же в Москву! Какого черта жить в Калинин, униженно выпрашивая у начальства разрешение на каждую поездку. Соколова не было, я позвонил Александровскому, а через несколько дней мы встретились в Лефортово.

Он был очень недоволен. Вместо того, чтобы благодарно ждать, я требую. Он объяснил мне, что восемь месяцев надо понимать аллегорически, что, может быть, пройдет и десять или двенадцать. Словом, когда надо — мне сообщат. Я пригрозил, что пожалуюсь Андропову, что они саботируют его обещание. В конце свидания Андропов сказал, что, если у меня будут какие-нибудь жалобы, чтобы я обращался непосредственно к нему — Александровский это знал. В качестве

компромисса я попросил, чтобы мне по состоянию здоровья разрешили оставить полиграфкомбинат и провести лето на даче моей матери. Мне разрешили.

И вот, в то время, как мои товарищи тянули срока в лагерях, я гулял по лесу, собирал грибы, сажал в огороде помидоры и клубнику, а по вечерам слушал по радиостанции "Свобода" "Архипелаг" Солженицына. И не испытывал при этом никакого чувства стыда. Только злость, что друзья меня "не понимают" и не хотят простить.

В сентябре 1974 года Соколов сообщил мне, что я могу подать прошение о помиловании, а еще через месяц он сообщил, что Верховный Совет СССР помиловал Якира и меня специальным указом, и что мы можем вернуться в Москву.

Мы с тобой сидели в приемной КГБ на Кузнецком мосту — в той самой приемной, в которой пролилось море слез, — я сказал Соколову, что хотел бы уехать на Запад. Он улыбнулся: "Мы этого ждали, но думали, что вы заговорите об этом раньше". — "Когда раньше?" — "В разговоре с председателем". — "Так я же был еще в заключении — о каком Западе могла идти речь?". Соколов сказал, что сам он не может принять решения, и что в ближайшее время доложит о моей просьбе Андропову. Потом он добавил: "Вот, мы отпустим вас. Но давайте так договоримся: мы поможем вам, а вы — нам". — "Что это значит?" — спросил я, хотя, разумеется, сразу понял, что он имеет в виду. — "Ну, как вы не понимаете?" — "Если вы связываете мой отъезд с этим предложением, то давайте считать, что я не уехал". Он

сразу отступил: “Нет, нет, эти два вопроса не связаны. Дело ваше, как хотите”. На этом мы и расстались.

Через месяц Соколов сообщил мне — опять в той же приемной — что он докладывал Андропову и тот сказал: “Ну, что же, если он хочет уехать — пусть уезжает”. — “Если на Западе нам будет плохо, — спросил я, — вы пустите нас обратно?” — “Пустим, — сказал он. — Только не сжигайте мостов”.

Мне мало было тех подлостей, которые я уже сделал. Я добавил к ним еще одну. Когда мы приехали в Калинин, наш калининский куратор — Серов — предложил нам подать заявление, чтобы нас освободили от выкупа. Уезжавшие должны были платить за отказ от подданства и визу около тысячи рублей на человека. Он сказал, что КГБ “поддержит” это ходатайство, и он не сомневается, что нас освободят от платы. Я написал заявление в Министерство финансов (передал я заявление, впрочем, в руки Серову), и через несколько дней он сообщил мне, что решение вышло положительное.

И вот тогда-то у меня и появилась эта гнусная мысль. У нас сэкономилось две тысячи рублей, которые наши матери, копившие всю жизнь по копейке, должны были дать нам на выкуп. Официально уезжавшим разрешалось менять на доллары только по 90 рублей на человека. А ведь на Западе понадобятся деньги, особенно в первое время. Я позвонил Соколову. Он принял меня. Я попросил его, чтобы КГБ разрешил нам обменять эти две тысячи рублей на доллары. Что им

стоит позвонить в госбанк. Он с минуту подумал: "Две тысячи по курсу — около трех тысяч долларов, — подсчитал он. — Хорошо. Не надо менять. Мы дадим вам эти деньги так, а свои две тысячи вы истратите на что хотите". Я растерялся. Я ожидал чего угодно, только не этого. "Я не могу принять у вас деньги в подарок", — пролепетал я. — И устоять бы на этом ответе. Но я не устоял. Я не смог отказаться от соблазна получить три тысячи долларов. Я сказал: "Я могу взять эти деньги в долг, а на Западе, когда работаю, я верну КГБ эти деньги". Было ли в истории взаимоотношений советских граждан с государственной безопасностью что-либо более жалкое, смешное и позорное. Соколов сказал: "Как хотите. В долг, или не в долг. Мы даем вам эти деньги так".

Когда мы вышли, ты умоляла меня: "Не бери у них деньги. Хватит уж позора". Я пообещал не брать. А на следующий день сидел в этой же приемной, и Булат вручал мне пачку 50-долларовых ассигнаций. "Давайте пересчитаем, чтобы не было ошибки". — "Да я вам верю", — и положил пачку в карман.

Булат попросил расписку. Я сделал изумленное лицо: "Вы, наверное, слышали, — сказал я, — что сам председатель КГБ установил наши отношения на доверии. Если это так, то какая же расписка? А если доверие кончилось, то я деньги не возьму". Он испугался. Ему было велено вручить мне деньги любым путем. Я ушел без расписки. А дома спрятал деньги подальше, чтобы ты не узнала. По крайней мере, не в первый день.

Потом мы паковали вещи. Я звонил Булату: "У меня много старых книг, а выкупать их нет денег. Позвоните на таможенную, чтобы пропустили". Булат звонил. "У меня от бабушки три или четыре иконы". Булат снова звонил.

И вот последняя встреча с Соколовым. Я говорю ему: "Сергей Иванович, у меня в бумажнике три тысячи долларов. На границе меня будут обыскивать. Деньги обнаружат. Ведь это — срок". — "Не беспокойтесь, мы позвоним". Я сказал, что я все-таки беспокоюсь. По телефону могут не понять. Или забудут позвонить. "Ну, хорошо, — сказал он. — Я пошлю в Чоп Булата". Я думал, что он обманет. Но он не обманул. Когда поезд остановился, на платформе нас встречал Булат. Он прилетел на самолете.

Он повел нас в ресторан, угощал коньяком и икрой. А в это время в нашем купе гебисты срочно перетрясали наши вещи: не вывожу ли я какие-нибудь бумаги. Даже пудреницу твою взрезали. Они не стеснялись. Ведь мы уезжали навсегда.

А в зале, где шмонали отъезжающих, — зал был пуст — Булат просто крикнул дежурному офицеру: "Пропустите без обыска". — "Как? Совсем не обыскивать?" — спросил тот, не понимая. "Совсем, совсем". Мы прошли мимо удивленных охранников. Помахали Булату в последний раз.

Поезд тронулся. Гигантские сторожевые вышки с автоматчиками. Государственная граница СССР. Мы уезжали навсегда.

В марте 1975 года мы приехали в Рим. Как хотелось мне сразу рассказать обо всем. Но я

не посмел. В кармане лежали три тысячи долларов, взятые "в долг" у КГБ. Я заткнул себе рот сам. Не посмел я сделать этого и в Нью-Йорке по приезде, в сентябре 1975 года. И только весной 1976 года, через год после отъезда из Москвы, я почувствовал, что я не в силах дольше молчать, что хотя бы главное я должен рассказать людям и, прежде всего, моим бывшим друзьям, перед которыми я так виноват.

Я опубликовал в печати заявление, в котором рассказал о том, что угроза расстрела была причиной моего недостойного поведения на следствии и на суде. Рассказал и о взятых — и уже к тому времени возвращенных — деньгах КГБ, приложив копию банковского перевода. Но короткое заявление, появившееся в печати, хотя и объясняло главное, но не могло дать ответ на многочисленные вопросы, неизбежно возникавшие в связи с нашим делом. Я обещал написать о нашем деле книгу. Я много раз начинал ее писать, но сказать всю правду, не утаивая ничего, пройти весь следственный ад и всю грязь своих поступков снова, не щадя себя, оказалось бесконечно трудно. Понадобилось много лет, пока я нашел в себе силы это сделать.

Эта книга — не воспоминания. Это — исповедь человека, которого гордыня, тщеславие и высокомерное отношение к людям привели к катастрофе, едва не погубившей душу. Оканчивая эту книгу, я еще раз прошу прощения у всех, перед кем я так тяжело виноват, и да поверят они, что в рассказе своем я стремился к правде.

ОБВИНЕНИЯ, ПРЕД'ЯВЛЕННЫЕ МНЕ НА СЛЕДСТВИИ

Обвинительное заключение, предъявленное Якиру и мне, занимало более 100 страниц. Я привожу краткий перечень обвинений, предъявленных мне, сохраняя, насколько я помню, формулировки обвинительного заключения. Обвинения были разбиты на несколько разделов.

Раздел 1. Размножение и распространение антисоветской литературы

С 1966 по 1972 гг. с целью дискредитировать коммунистическое мировоззрение и советский строй изготовлял и распространял фотопленки и фотокопии произведений, признанных антисоветскими решениями советских судов. В том числе: Н. Бердяев "Истоки и смысл русского коммунизма" и "Философия неравенства"; Г. Федотов "Новый град"; А. Соколов "Убийство царской семьи"; М. Джилас "Новый класс" и "Встречи со Сталиным"; А. Авторханов "Технология власти"; сборник "Из глубины"; юбилейный сборник "Мосты"; Б. Голдуотер "Почему не победа?"; Б. Вышеславцев "Философская нищета марксизма"; Л. Шапиро "КПСС"; Е. Замятин "Мы"; А. Кестлер "Тьма в полдень"; Д. Орвелл "84-й год"; Ю. Даниэль "Рассказы"; А. Синявский "Фантастические повести"; А. Солженицын "Раковый корпус" и "В круге первом"; С. Ал-

лилуева "20 писем к другу"; А. Марченко "Мои показания".

Получал, размножал и распространял материалы зарубежной антисоветской организации НТС: журнал "Посев", спецвыпуски "Посева", программу НТС, листовки НТС.

В общей сложности изготовил более ста фотопленок, которые хранил в тайниках или у знакомых.

В 1968-1969 гг. для изготовления фотокопий пользовался помощью В. Кожаринова. Фотокопии некоторых произведений были сделаны в количестве до 20-ти экземпляров (Авторханов "Технология власти"; Марченко "Мои показания"; Бердяев "Истоки и смысл русского коммунизма"; Солженицын "Раковый корпус" и "В круге первом").

Распространял фотопленки и фотокопии сначала в Москве, а в дальнейшем и в других городах СССР. Фотокопии были изъяты при обысках в Москве, Ленинграде, Киеве, Ташкенте, Мелитополе, Таллине, Свердловске, Новосибирске и других городах.

Экспертиза установила, что все изъятые фотокопии были сделаны с фотопленок обвиняемого.

Раздел 2. Составление, подписание, сбор подписей и распространение писем-протестов, "Хроники текущих событий" и других документов, квалифицированных как антисоветские или клеветнические

С начала 1968 г. начал подписывать, а в дальнейшем составлять и собирать подписи под антисоветскими и клеветническими документами. Подписал около 50-ти таких документов. Составил следующие документы: "Обращение к Будапештскому совещанию" (1968 г.); "Обращение в комиссию по правам человека ООН" (так называемое, "Первое письмо в ООН") (1969 г.); "Обращение к Московскому совещанию коммунистических и рабочих партий" (1969 г.); "Годовщина вторжения в Чехословакию" (1969 г.); "Третье письмо в ООН" (1969 г.); "В защиту А. Левитина" (1969 г.).

В 1968 и 1969 гг. привлек к размножению писем-протестов и "Хроники текущих событий" В. Кожаринова, который перепечатывал все новые материалы в количестве от 20 до 40 экземпляров и передавал обвиняемому для распространения.

С помощью В. Кожаринова завел архив, в который откладывалось по несколько экземпляров новых документов с тем, чтобы снабжать ими знакомых из других городов.

Раздел 3. Связи с иностранными корреспондентами

С осени 1968 г. установил контакты с иностранными корреспондентами и до ареста в декабре 1969 г. регулярно передавал им клеветнические документы (письма-протесты, "Хронику текущих событий" и другие), а также получал от них антисоветскую литературу.

После возвращения из ссылки в сентябре 1971 г. и до ареста в сентябре 1972 г. возобновил контакты с иностранными корреспондентами, продолжая получать от них антисоветскую литературу, которую распространял среди своих единомышленников.

Встречался с иностранными корреспондентами конспиративно, договаривался о месте и времени встречи по телефону с помощью условных фраз. Встречи происходили на улицах, в автомашинах корреспондентов, а также на их квартирах.

Для большей надежности просил своих единомышленников, имевших знакомых среди иностранных корреспондентов, дублировать передачу документов, снабжая их для этого копиями документов.

В мае 1969 г. познакомил с иностранными корреспондентами П. Якира, после чего на встречи с корреспондентами ездили вдвоем.

Раздел 4. Связи с эмиссарами НТС и другими иностранцами

В 1969 г. установил контакты с эмиссарами НТС, приезжавшими в СССР под видом туристов и привозившими НТСовскую литературу.

Распространял полученные материалы, в том числе программу НТС, содержащую установку на свержение советской власти вооруженным путем.

Обращался к приезжавшим с просьбой привозить не любую литературу, а только ту, которая больше всего нужна для распространения, для чего составил рекомендательные списки, содержавшие до 50-ти наименований самых злобных анти-советских произведений.

Просил также привозить деньги. Первая доставка денег в количестве 4000 рублей состоялась в октябре 1969 г. Дал адреса, куда привозить литературу и деньги, а также предложил пароль, по которому приезжавших можно опознать.

В 1971 г. установил контакты со вторым секретарем американского посольства в Москве, несколько раз встречался с ним конспиративно в резиденции американского посла. Передал ему рекомендательный список литературы, по которому в дальнейшем получал литературу от иностранных корреспондентов.

Мне вменялась также в вину так называемая "Организационная деятельность", направленная на то, чтобы отдельные протесты против арестов

и судов превратить в организованное движение с целью создания политической оппозиции в СССР.

В этом разделе я был, в частности, обвинен в том, что в мае 1969 г. предложил образовать Инициативную группу по защите гражданских прав в СССР и составил список кандидатов для этой группы, а также предложил прекратить обращаться с протестами в советские инстанции и вместо этого обращаться в ООН.

* * *

К моменту моего ареста в сентябре 1972 года следствие располагало запротоколированными показаниями по подавляющему большинству предъявленных мне эпизодов обвинения.

Это, как и другие факты, зафиксированные в материалах дела, должно быть известно адвокату Юдовичу, который теперь живет на Западе. По окончании следствия он знакомился с нашим делом и защищал Якира на суде.

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Петр Ионович Якир родился в Киеве в январе 1923 года.

Его отец, Иона Якир, был командармом Красной армии, одним из тех, кому советская власть обязана победой в гражданской войне. Он был расстрелян по процессу военных в 1938 году.

Мать Петра, Сара Лазаревна, была арестована как жена "врага народа". Она отбыла в лагерях 18 лет. Вслед за матерью был арестован и Петр. Ему было тогда 14 лет. Он отбыл в неволе 17 лет. Его жена, Валентина Савенкова, с которой он познакомился в лагере, отбыла в заключении и ссылке около 10 лет.

В 1956 году Петр с матерью, женой и дочерью Ириной, родившейся в лагере, вернулся в Москву. Петр поступил в историко-архивный институт, по окончании которого работал научным сотрудником в институте истории Академии наук.

В начале 60-х годов Петр принял активное участие в кампании по разоблачению сталинских преступлений. С лекциями о сталинском периоде в советской истории, о терроре, о лагерях принудительного труда он выступал повсюду — на заводах и в научно-исследовательских институтах. Петр прочитал более двухсот лекций, сначала в Москве, а потом и во многих других городах. С окончанием хрущевской "оттепели" лекции эти были запрещены.

С появлением правозащитного движения Петр

принял в нем самое активное участие. Он был одним из первых, кто начал кампанию коллективных писем-протестов против нарушений законности и гласности. Его дом стал одним из главных мест, где собирались диссиденты.

Как личность Петр обладал удивительным обаянием и притягательностью. Он был прост, доступен и отзывчив. Его любили все, кто его знал. В его квартире каждый вечер собиралось множество народа, иногда по 30-40 человек. От него не хотелось уходить.

Все годы до ареста в 1972 году он все свое свободное время посвящал правозащитной деятельности. Написание писем-протестов, сбор подписей под ними, собирание информации об арестах, судах, положении в лагерях; перепечатка и распространение этих материалов в Москве и других городах, передача их западным корреспондентам; распространение неподцензурной литературы, — не было такой формы диссидентской деятельности, в которой Петр не принимал бы самого деятельного участия.

В июне 1972 года его арестовали. О деле, по которому судили его и меня, я рассказываю в своей книге.

В 1974 году решением Верховного Совета мы оба были помилованы. После освобождения Петр жил в Москве. Он умер в ноябре 1982 года.

* * *

Моя жена, Надежда Емелькина, родилась в Москве в 1946 году. В 1964 году поступила в Московский геологоразведочный институт. В 1967 году начала размножать и распространять самиздатскую литературу, а в дальнейшем приняла активное участие в правозащитном движении. В 1968 году была отчислена из института за правозащитную деятельность.

В июне 1971 года вышла на демонстрацию на Пушкинскую площадь в Москве, развернув транспарант с требованием свободы политзаключенным в СССР. Бросила в толпу пачку сделанных ею листовок, в которых говорилось, что помещение здоровых людей за их убеждения в психиатрические больницы — это нацистские методы. Была арестована и приговорена к 5 годам ссылки. Ссылку отбывала в Красноярском крае.

В 1972-1973 гг. была привлечена в качестве свидетеля по делу, по которому были арестованы П. Якир и я, давала показания на следствии и на суде. В 1973 году, после нашего суда, была помилована.

В 1975 году мы вместе выехали в США.

* * *

Я родился в Киеве в 1929 году. В 1937 году был арестован мой отец. Он погиб в лагерях на Колыме. После ареста отца меня забрали к себе его родители. У них в Киеве я прожил до начала войны. В 1941 году мать со мной и моим младшим братом была эвакуирована в Ташкент. В 1944 году мы вернулись и поселились в Москве. В 1947 году я окончил среднюю школу и поступил в Московский университет на психологическое отделение философского факультета.

В январе 1949 года я и шесть моих друзей были арестованы МГБ по ст. 58-10-11. После семи месяцев следствия на Лубянке нас решением ОСО приговорили к восьми годам лагерей за критику марксизма-ленинизма с идеалистических позиций. Я попал в Тайшетские лагеря (Озерлаг).

В сентябре 1949 года я и четыре моих лагерных товарища совершили побег с Тайшетской пересылки, разоружив конвой. Нас задержали на третьи сутки. Лагерный суд приговорил нас к 10 годам по ст. 58-14 за контрреволюционный саботаж — побег с целью уклонения от отбытия наказания. Нас этапировали на Тайшетскую трассу, там я провел первую лагерную зиму на лесоповале.

Весной 1950 года я попал на этап на Колыму, там, в Берлаге, я отбыл последние четыре года своего заключения. В Магадане я обучился токарному делу и остальной срок работал токарем в мехцехах.

После смерти Сталина наше дело было пересмотрено. Нас привезли на Лубянку и в октябре 1954 года освободили и реабилитировали.

Я восстановился в Московский университет на экономический факультет и окончил его в 1963 году. Учился я заочно, работая шофером на грузовиках и в московском такси. В 1966 году я окончил аспирантуру по кафедре статистики. Я написал диссертацию, посвященную сравнительному анализу темпов экономического роста передовых западных стран в XX веке. Диссертация не была допущена к защите, поскольку не соответствовала марксистским стандартам.

С 1966 по 1968 гг. я работал научным сотрудником в Центральном экономико-математическом институте Академии наук (ЦЭМИ). В это время я начал заниматься самиздатом: фотографировал и давал читать друзьям неподцензурную литературу. Я познакомился с участниками начинавшегося тогда правозащитного движения и начал принимать в нем участие.

Осенью 1968 года был уволен из ЦЭМИ, отказавшись прекратить правозащитную деятельность. Я не работал год, и в конце 1969 года меня арестовали и приговорили к пяти годам ссылки по обвинению в тунеядстве. Ссылку я отбывал в Красноярском крае.

Осенью 1971 года Верховный суд РСФСР отменил приговор, и я вернулся в Москву.

В сентябре 1972 года я был арестован КГБ по 70-й статье. Об этом последнем аресте я рассказываю в своей книге.

С октября 1973 года по февраль 1975 года я отбывал ссылку в г. Калинин.

В феврале 1975 года эмигрировал в США.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

ВИКТОР КРАСИН ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ СВОИХ ПОКАЗАНИЙ

Оговорил Ковалева под угрозой расстрела

Диссидент Виктор Красин заявляет, что "показания и покаянные заявления" на суде в СССР были сделаны под угрозой расстрела. Он обратился к редакции "Хроника Пресс" с просьбой распространить нижеприводимое заявление:

Издательством "Хроника" в Нью-Йорке опубликованы материалы о суде над С. Ковалевым, участником движения за права человека в Советском Союзе. Из этих материалов я узнал, что на суде С. Ковалева обвинение использовало показания, данные мною в 1973 году на следствии по делу № 63, по которому П. Якир и я были обвинены в антисоветской подрывной деятельности.

Поскольку следственные и судебные власти в Советском Союзе продолжают пользоваться этими показаниями и, возможно, будут пользоваться ими и дальше, я решил сделать это заявление.

Показания и покаянные заявления на следствии, суде и последовавшей затем пресс-конференции были сделаны мною под давлением и вопреки моей совести. В течение первых двух месяцев после ареста, когда я отказывался давать показания, мне постоянно угрожали ст. 64 УК РСФСР ("измена родине") и расстрелом.

Я не буду перечислять все варианты, в которые облекались эти угрозы, приведу лишь наиболее характерные:

“Вы хотите быть примером человека, которого нам не удалось сломить? Хотите нести знамя? Несите. Но знайте, расплата будет одна — расстрел”.

“Если мы Вас расстреляем, то назавтра все ваше так называемое демократическое движение прекратится”.

“Мы Вас поставим к стенке, но не дадим поломать это дело”.

“Я поверил в эти угрозы”

В течение ряда лет КГБ не мог подавить движение за права человека в Советском Союзе, в том числе — выход “Хроники текущих событий”. Тогда карательные органы сделали ставку на то, чтобы провести показательный процесс, который должен был деморализовать и расколоть движение за права человека.

После многократных и категорических заявлений, что меня расстреляют, если я сорву им этот процесс, я поверил в эти угрозы. Страх перед насильственной смертью в конце концов сломил меня, и я начал давать показания.

О том, что мне угрожают смертной казнью, мне удалось сообщить на волю в период следствия на одной из очных ставок. К сожалению, эта информация не получила широкой огласки, и многие до сих пор не знают главной причины моего падения.

Я никогда не разделял тех мыслей, которые высказывал на следствии, суде и пресс-конференции. Я считал и считаю, что в Советском Союзе власти незаконно преследуют людей за убеждения; что этим нарушаются основные права советских граждан; что карательные органы в борьбе с инакомыслием не останавливаются перед самыми жестокими расправами — истязают на следствии, калечат в лагерях и духовно убивают в психиатрических тюрьмах безвинных людей.

Я категорически протестую против того, что власти используют мои показания, данные в состоянии отчаяния, когда я уже не контролировал свое поведение. Всех, кому эти показания могут быть предъявлены, я прошу сослаться на это мое заявление и отвергать их как полученные под противозаконным давлением и не имеющие юридической силы.

Я глубоко чувствую свою вину перед всеми, на кого я дал показания, и прошу прощения у них, а также у всех моих друзей, которым я причинил боль и горечь своим недостойным поведением.

20 апреля 1976 г.

В. Красин

Почему Красин решил выступить?

После того, как было написано это обращение, я понял, что я должен сделать то, чего не решался сделать до сих пор.

Выехав из Советского Союза, я молчал больше года. Причиной тому был страх, который они мне

внушили, а также подачки, которые я от них принимал.

После освобождения из Лефортовской тюрьмы в октябре 1973 года меня направили в ссылку не в Сибирь, как всех политических ссыльных, а в г. Калинин. Там мне дали двухкомнатную новую квартиру. Устроили на работу по специальности, чего с политическими ссыльными, как правило, не бывает. Летом 1974 года разрешили уволиться с работы и провести лето на даче, хотя ссылка еще не кончилась. Удовлетворили ходатайство о помиловании, благодаря чему ссылка продолжалась не три года, а только год. Разрешили выехать за границу. Освободили от оплаты за визу и отказ от подданства.

И, наконец, последнее и самое подлое. Полагая, что на Западе мне будет трудно найти работу, я попросил обменять мне большее количество денег, чем разрешено правилами, а именно — 2000 рублей. Вместо этого мне предложили взять соответствующую сумму в долларах безвозмездно. Я сказал, что могу взять деньги только в долг с тем, что на Западе при первой возможности их верну. Мне было сказано, что я могу возвращать их или не возвращать по своему усмотрению. Я взял эти деньги в количестве 3000 долларов.

Оглядываясь назад, я вижу, что эта последняя подачка, принятая мною, и была основной причиной, почему я больше года молчал. Мое молчание не оговаривалось, но я сам заключил сделку со своей совестью.

Но так жить дальше я не хочу. Я отсылаю эти деньги обратно в КГБ. Я не желаю больше быть

молчаливым сообщником тех, кто совершает беззакония в Советском Союзе.

20 апреля 1976 г.

В. Красин

Борьба Красина за права человека

Виктор Красин приобрел известность как активный борец за права человека в Советском Союзе. В 1969 году он организовал Инициативную группу по защите прав человека в СССР. Его подпись значилась под многочисленными заявлениями в защиту лиц, подвергавшихся политическим преследованиям в Советском Союзе.

Впервые он был арестован в возрасте 20 лет в 1949 году. Его освободила смерть Сталина. В 1969 году он был арестован и сослан сроком на пять лет в Красноярск за "паразитизм". В 1972 году он был досрочно освобожден по решению Верховного суда РСФСР.

В том же году его вновь арестовали по тому же делу, что и Петра Якира. Они вместе предстали перед судом по обвинению в антисоветской пропаганде. Оба они были приговорены к трем годам тюрьмы и трем годам ссылки. Через несколько дней после вынесения приговора Красин и Якир выступили на пресс-конференции в Москве, а через три недели с небольшим Верховный суд РСФСР пересмотрел вынесенный Красину приговор и постановил сократить срок заключения до 13 месяцев — то время, которое он провел в тюрьме в ожидании суда.

На следствии и на суде, а также на пресс-конференции Красин и Якир выразили сожаление о

своем участии в диссидентском движении и свое раскаяние в этом.

28 апреля 1976 года *“Новое Русское Слово”*

* * *

*Москва, Кузнецкий мост 24,
Приемная КГБ
Соколову С.И.*

Возвращаю деньги, взятые мною у Вас в долг. Поскольку деньги лежали в банке, возвращаю их с процентами, образовавшимися за это время, то есть три тысячи двести долларов.

Перечисляю эту сумму через The Chase Manhattan Bank на Московское отделение банка для иностранной торговли СССР (Bank for Foreign Trade USSR) с тем, чтобы деньги были возвращены в КГБ по адресу: Москва, Кузнецкий мост 24, Приемная КГБ, Соколову С.И.

Подпись —

В. Красин

22 апреля 1976 г.

APPLICATION FOR TRANSFER OF FUNDS
TO THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.

PLEASE TRANSFER BY AIR MAIL REGISTERED MAIL TELEGRAPH TELEPHONE

DATE

4/22/76

PLEASE PRINT OR TYPE ALL INFORMATION EXCEPT SIGNATURES

TRANSFER TO

NAME OF BANK CORPORATION OR INDIVIDUAL

MOSCOW-BANK FOR FOREIGN TRADE

U.S.S. R.

FOR ACCOUNT OF

NAME OF BENEFICIARY

Committee of State Security of the U.S.S.R.

NOTIFY AND PAY UPON IDENTIFICATION

ADDRESS

Moscow, Kuznetsky Most 24;
S. J. Sokolov

BY ORDER OF

NAME OF PURCHASER (if other than yourself)

Victor Krasin

% Chase Manhattan Bank
161, E. 57th St. New York 10022

SPECIAL INSTRUCTIONS (IF ANY)

| | | |
|--------------------------|---------------|----------------------------|
| AMOUNT OF TRANSFER | RATE | \$ 3200 ⁰⁰ U.S. |
| CONTRACT NUMBER | CABLE CHARGES | 4.50 |
| HANDLING CHARGES \$ 7.50 | TOTAL | 3204.50 |

IT IS HEREBY AGREED THAT NO RESPONSIBILITY SHALL ATTACH TO YOU IN THIS MATTER BEFORE ORDERING THE ACCOUNT DEBITED AND SIGNED NOTICE AS REQUESTED ABOVE YOU SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ERROR, OMISSION OR DELAY IN THE TRANSMISSION OR DELIVERY OF SUCH NOTICE.

PURCHASER'S NAME (PLEASE PRINT) VICTOR KRASIN.
 PURCHASER'S ADDRESS 1 Chase Manhattan Bank - 161 W York Street

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> DEBIT ACCOUNT NO | <input type="checkbox"/> CASH | <input type="checkbox"/> CHECK ATTACHED |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

PURCHASER'S SIGNATURE [Signature]

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE - FOR BANK USE ONLY

SETTLEMENT CHECK (BFX-4) ATTACHED

TRANSFER INSTRUCTIONS TELEPHONED TO [Stamp]

BY [Signature]

AUTHORIZED SIGNATURE [Signature]

BRANCH NUMBER AND NAME



THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.

1 Chase Manhattan Plaza, New York, N. Y. 10015

INTERNATIONAL
TRANSFER 15
1 NYP-5THFL

Department

PLEASE SEND US YOUR CHECK FOR COST OF VALUE AS INDICATED BELOW:

| DATE | TO | CHARGE |
|---------|-------------|-------------|
| 4-27-76 | MOSCOW USSR | 4-23 \$2.90 |

Regarding:

TRANSFER \$3,200.00 TO BANK FOR FOREIGN TRADE USSR FROM VICTOR KRASIN

VICTOR KRASIN
 C/O CHASE MANHATTAN BANK
 161 DYCKMAN ST.
 NEW YORK, N.Y.

Bl. 9069

PAYRE 15MD

DEBIT ADVICE

| | |
|---------|----------|
| BY BANK | REMITTER |
| CASH | |
| ON | |
| YOUR | |
| WHILE | |

DATE DEBITED

4/23/76

AS PER INSTRUCTIONS DATED

WE

DEBIT

YOUR

4/22/76

ACCOUNT

\$3,200.00

AC COMMITTEE OF STATE SECURITY OF THE USSR MOSCOW KUZNETSKY

MOST 21 S J SOKOROV

B/O-VICTOR KRASIN C/O CHASE MANHATTANBANK 161 DYCKMAN STREET HILLSIDE AVENUE NEW

YORK 10043

FROM VICTOR KRASIN, NEW YORK, NY

DATE FOR FOREIGN TRAVEL U.S.A.

175 REVERETT LANE

NEW YORK, N.Y.

AC

PLUS CABLE CHARGES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TO

VICTOR KRASIN
 C/O CHASE MANHATTAN BANK
 161 DYCKMAN STREET
 NEW YORK, NY 10043

VIA AIR MAIL

THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.

1 Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10015

INTERNATIONAL TRANSFER DEPT.

IT IS UNDERSTOOD THAT NO RESPONSIBILITY SHALL ATTACH TO US IN THIS MATTER BEYOND CREDITING THE ACCOUNT DESIGNATED BY YOU AND SENDING NOTICE AS REQUESTED AND THAT WE SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ERRORS OMISSIONS OR DELAYS IN THE TRANSMISSION OR DELIVERY OF SUCH NOTICE

X 200 REV. 7/74 PTD 5/75

* * *

В редакцию НРС

Уважаемый Господин Редактор,

В Вашей газете за 15 мая опубликована статья С. Жenuка "Раскаяние" по поводу моего заявления.

Я благодарен автору статьи за его доброе отношение ко мне.

Что касается подробностей, то в коротком заявлении невозможно рассказать о деле, объем которого составили 150 томов.

Я работаю над книгой, в которой подробно рассказываю обо всем — со дня моего ареста и до момента выезда за границу, в том числе, и об эпизодах, по которым я дал показания на других. Я надеюсь, что книга даст полное представление как о содержании этого дела, так и о методах, применяемых КГБ в наше время.

В. Красин

16 мая 1976 г.



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Глава первая

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1. ОСОБО ОПАСНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Статья 64. Измена Родине

а) Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб государственной независимости, территориальной неприкосновенности или военной мощи СССР; переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти —

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества.

б) Не подлежит уголовной ответственности гражданин СССР, завербованный иностранной разведкой для проведения враждебной деятельности против СССР, если он во исполнение полученного преступного задания никаких действий не совершил и добровольно заявил органам власти о своей связи с иностранной разведкой (в редакции закона РСФСР от 25 июля 1962 г. — "Ведомости Верховного Совета РСФСР" 1962 г. № 29, ст. 449).

Статья 70. Антисоветская агитация и пропаганда

Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания —

наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или ссылкой на срок от двух до пяти лет.

Те же действия, совершенные лицом, ранее осужденным за особо опасные государственные преступления, а равно совершенные в военное время —

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки (в редакции закона РСФСР от 25 июля 1962 г. — "Ведомости Верховного Совета РСФСР" 1962 г. № 29, ст. 449).